

Владимир Тендряков
ПАРА ГНЕДЫХ
ХЛЕБ ДЛЯ СОБАКИ
ПАРАНЯ
ПРОСЁЛОЧНЫЕ БЕСЕДЫ

ПАРА ГНЕДЫХ

Лето 1929 года...

Я подымаю его почти со дна моей памяти. Есть воспоминания, лежащие и глубже, даже в глухих слоях младенчества. Но это случайные следы в незрелом мозгу, капризы неопределившегося бытия.

Например, я отчетливо помню: мать ведет меня за руку, я, наверное, только-только учусь ходить, и земля не держит меня, она коварно неровна - в ямах, буграх, предательских уклонах. Но вот я оторвал от нее взгляд и поднял вверх голову, открыл близкое серенькое небо и недоступный скворечник - мир, существующий помимо меня. Отчетливо помню... Но эта ранняя картина ни с чем не связана. Я не знаю, что было до нее, что после нее, - кратковременная вспышка во мраке.

К 1929 году мне исполнилось пять лет, тут я уже помню в сё, не клочками, не вспыхивающими звездами, а сплошным потоком... Незабвенный первый пескарь, вытащенный на удочку у моста, сразу же раздвигает мир: вижу сбегаящий к реке бурьянистый косогор, черные баньки, покоящиеся в крапиве, избы, сладко пахнущие по утрам свежее испеченным хлебом, мужиков, тревожно рассуждающих о коммунии...

Подымаю с самого дна моей памяти... Но памяти надежной, за которую я готов нести прямую ответственность. По детским следам иду сейчас, сорок с лишним лет спустя, иду зрелым и весьма искушенным человеком. А потому пусть не удивляет вас трезвая рассудочность моего изложения.

Итак, лето 1929 года.

В воздухе висит нагретая пыль, скрип несмазанных колес, выкрики: "Шевелись, дохлая!" По единственной улице села тащатся груженые возы - навстречу друг другу. В ту и другую сторону везется житейский скарб: полосатые, вожделенно пухлые перины и залежанные, негнущиеся холстинные матрацы, громоздкие сочленения ткацких станин и неумытые самовары, окованные сумрачные сундуки и нехитро расписанные шкафы, хлопающие на ходу дверками, вылинявшие, затхлые подушки, штабеля подшитых валенок, нагромождения овчины и тряпья, "робячьи" люльки, опростанные и с младенцами, венские стулья - зажиточный шик, сломанные салазки, прялки, голики, бочки, пестери, горшки, лохани... Из темных чердаков, из подпольных голбцев, из забытых камор и памятных потайных мест - все, что копилось поколениями, что лежало без нужды многие десятилетия, даже века, вытащено сейчас наружу, везется навстречу друг другу.

Иногда над горшками и лоханями возвышаются усохший старик или старуха, покорные судьбе, глядящие вперед замороженным взглядом...

Скрипят несмазанные колеса. Село поднято, село переезжает!

Переезжают не все. У дороги, чуть в стороне - разомлевшая на солнце кучка мужиков: топчут пыльную травку дегтярными сапогами, берестовыми ступнями, босыми пятками, потеют, благоухают луком, жадно ощупывают глазами каждый воз и обсуждают:

- Мирошка-то, гляньте, цинково корыто везет.

- А еще в бедняках ходит.

- Цинково корыто - вещь!

- А вон и Пыхтунов едет!

- Ну, у этого-то добра хватает.

- Два самовара у него, а что-то не видать их.

- Укрыл, зачем глаза-то мозолить.

- Два самовара - вещь, это не цинково корыто...

Тут же у дороги стоит и мой отец - вместе со всеми и как-то наособицу.

На его широкой спине скрещиваются взгляды мужиков. Отец чувствует их, плечи его борцовски опущены, бритая, сизая голова склонена вперед, на загорелой крепкой шее морщинистый шрам - след белогвардейского осколка.

Это он поднял село, вывернул наизнанку, заставил переезжать.

Справедливость... Я родился в воспаленное время и очень рано услышал это слово.

Еще совсем недавно было худо на белом свете - богатые обжирались и бездельничали, бедные голодали и работали. Не было справедливости во всем мире!

За справедливость, за "кто не работает, тот не ест!" поднял народ Ленин. А вместе с ним поднялся мой отец. Вот он стоит и смотрит, как идут возы по улице.

Сейчас богатые мужики переезжают из своих богатых домов в избы бедняков. Бедняки же едут жить на место богатых. Мирошка Богаткин, хоть имеет оцинкованное корыто, но голь, беднота. Мирошка едет занимать пятистенки Пыхтунова Демьяна. А Пыхтунов с семьей и двумя своими самоварами едет в Мирошкину развалюху.

Не было в мире справедливости - она есть! И устанавливает ее здесь в селе мой отец. Устанавливает не по своему желанию, его послала сюда партия. Мы здесь приезжие.

За нашими спинами раздался глуховато-монотонный голос:

- Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны алчущие, ибо они насытятся. Блаженны милостливые, ибо помилованы будут...

Опустив в валенки вечно мерзнувшие - даже в такую жару! - ноги, сидит под оконцами избы старый Санко Овин, бубнит ввалившимся, затянутым бородачкой, словно паутиной, ртом, глядит вдаль сквозь всех голубенькими размысленными глазками.

- Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими...

И мужики обеспокоились, разом заговорили:

- Блаженны алчущие?.. Выходит, что по-божески нынче забирают.

- А милостливые блаженны, как тут понять?
- Эй, дедко, растолкуй: бог твой за нонешнюю власть али против?
- Все равны перед богом,- пробубнил дед Санко сквозь волосяную паутину.
- Ишь ухилил, старый черт!
- Нет уж, скажи, Овин: нынешняя-то власть божеское равенство устанав-
ливает али какое?

- Божеское?.. Активисты-то! Сказанул!
- А вот мы спросим. Эй, Федор Васильевич! Товарищ Тенков! Дополни ты
нам Овина: божеское у вас равенство али какое?

Мой отец, как всегда, обернулся не сразу. Сначала взвесил - хорош или
плох вопрос. А обернувшись, сощурился с невнятной ухмылочкой. Это значит,
вопрос понравился, с охотой ответит. При неприятных вопросах он каменел гу-
бами и скулами, отвечал глухим нехорошим голосом.

- А вот как понять - все равны, все братья, а кесарю кесарево отдай,
не греши? Вроде так сказано в святом писании. - И отец повел прищуренным
глазом на мужиков. Те посапывали со вниманием. - Выходит, равенства держись
и царя-кесаря признавай над собой. Неувязочка. Бог-то у Овина вроде меньше-
вика или левого эсера - одни пузыри о равенстве пускает. Соглашатель.

Бог Санко Овина - это мужицкий бог, тем не менее кто-то из мужиков
охотно хохотнул, кто-то прокряхтел, кто-то без убеждения, слабодушно под-
дакнул:

- Оно, пожалуй...

А отец, запустив руки в карманы, развернув грудь, поглядывал на всех с
победной ухмылочкой.

- Именем бога тыщи лет словеса плели, а мы действуем... Вон!.. - Отец
кивнул подбородком в сторону дороги. - Поглядите, как выступает. Хорош?
Слов нет. А вон этого хорошего без лишних слов с плохим Ваней Акулем порав-
няли. Не речи о равенстве толкаем, а делом занимаемся.

Все поглядели туда, куда показывал мой отец. По улице двигался высокий
воз, две гнедых, небрежно попирая пыль хрупкими ногами, тянули его. Рядом
прямо вышагивал человек, рукава полотняной, не по-деревенски белой рубахи
засучены, высокие сапоги начищены, шляпа на затылке, - Антон Ильич Коробов.

Он был не бедней Пыхтунова - кулак! Никакого сомнения! Он имел две ло-
шади. Таких коней не было ни в нашем селе, ни в соседних селах, да были ли
лучше на всем свете? Лучших и представить нельзя.

Они лоснились так, что казались выкупанными. По спинам и крупам, на
выпуклостях, они отливали глубинно тусклым золотом. У них, гладких, - тощие
морды с пугливыми ноздрями и крупными, влажными, горячими глазами. У них
широкие, бронзово литые крупы, а под ними сухие, до невольного страха тон-
кие ноги, кажется, вот-вот под тяжестью крупов хрустнут у бабок. На перед-
них ногах одной - белые носки, и даже копыта у нее розовые...

Я тайно и безумно любил этих коней - каждую их лощеную шерстинку, каж-
дое их богоподобное движение, позвякиванье их сбруи, призрачный стук их не-
весомых копыт на рыси. Я никогда не мог досыта на них наглядеться...

Я временами любил - ничего не мог с собой поделаться! - их хозяина Анто-
на Коробова, когда тот ласкал своих коней, говорил с ними с шутливой неб-

режностью, за которой взрослые обычно прячут свою нежность к детям. Его смуглое лицо в эти моменты было таким, что хотелось подвернуться под его руку, чтоб осчастливил - погладил по голове.

Я любил его и тогда, когда перед закатом, сквозь золотую пыль лучей низкого солнца он проезжал по селу на своей паре. Всегда это случалось внезапно. Они возникали посреди улицы - громадные, переливисто лоснящиеся, победно сильные, столь одинаково выгнувшие шеи, столь согласованно попирающие

землю ногами, что казалось - бежит не пара зверей, а одно-единственное до ужаса великолепное существо. А позади него, выкинув вперед руки, величаво откачнувшись назад, - он, повелитель, он, бог! Как бы я хотел походить на него! Бога нельзя не любить!

Его любили дети и собаки, да и прочие животные тоже. Рассказывают: однажды он подошел к рассвирепевшему быку, только что разбившему телегу, ранившему лошадь. Подошел, почесал его, как собаку, за ухом, взял его за кольцо в носу и отвел в стойло.

Его не любили взрослые. Не только мой отец, но и мужики, богатые и бедные без разбора: "Тонька Коробов - хват. С ним на палочке не тянись - руки до плеч выдернет, и все с улыбочкой - простачок".

Был он женат на единственной дочери местного купца-богатея Игнашихина и должен бы стать его наследником. После революции старик Игнашихин с сумой на плече ушел куда-то на сторону, жить у зятя не стал - неспроста... Антона же Коробова тогда не тронули, даже одно время почтительно величали "культурным хозяином".

Он остановил воз, сунул вожжи за грядку, бросил лошадей прямо на дороге, направился к нам.

А лошади мотали головами, взрывали копытами пыль, им хотелось двигаться, хотелось в подмывающем содружестве и дальше тянуть этот посильный воз, но - умны же! - хозяин отошел, надо ждать... И копытят пыль на дороге.

У Антона Коробова на смуглом лице светлые глаза и светлая, ровно подрубленная борода. Он был не особо высок ростом, но держался столь прямо, словно все на голову ниже его.

- Здоровы будем, мир честной, - приветствовал он.

- Здоров, коли не шутишь, - отозвался доброхот.

- Выглядываете, кто сколько горшков нажил?

- Чай, любопытно.

- И вам, Федор Васильевич, тоже?.. - Антон Коробов нацелил бородку на моего отца.

- Да, - сухо ответил отец.

- Чужие горшки любопытны?..

- Событие, которое сейчас идет. Иль тебе, Антон, оно любопытным не кажется?

- Может быть, - с готовностью согласился Антон. - Вот только куда любопытное нас развернет?..

- Ко всеобщему равенству.

- М-да-а... Всеобщее, значит. Ты - мне, я - тебе, а вместе мы Ване Акуле равны?

- Не нравится?

- Нет, почему же. Я-то готов, да ты, Федор Васильевич, все сердито подминаешь. Ты наверху, я внизу - равенство.

- Не наш класс в эти подминашки первым играть начал.

Антон Коробов блеснул улыбочкой:

- Ах, вон что! Вам старые ухваточки приспособить не терпится.

Из кучи мужиков кто-то несдержанно выдохнул с радостной откровенностью:

- Гы!..

Они стояли друг против друга - мой отец и Антон Коробов. Мой отец широк, плечист, словно врос в землю расставленными ногами, взгляд его прям и тверд, многие мужики, стоящие сейчас в стороне, не под его взглядом, поеживаются. А Коробов - хоть бы что, задирает перед отцом бородку - легкий, статный, ворот именинно чистой рубахи распахнут на груди, сапоги блестят твердыми голенищами и открытая улыбочка: возьми-ка меня за рубль двадцать, дом отнял, глядишь грозно, а мне - трын-трава!

И кони в стороне гнули шеи, рыли дорогу точеными копытами...

В это время, гремя пустой телегой, подкатил Мирон Богаткин, уже сваливший свое добро вместе с оцинкованным корытом возле нового жилья.

- Тпр-р-у! - Мирон соскочил с телеги, подсмыкнул сползающие с тощего брюха портки.

Он и всегда-то был дерганый - все с рывка да с тычка, а сейчас весь переворошен - глаза в яминах блестят, как вода из колодца, во всклоченной бороде солома, ворот холщовой рубахи расхлюстан, а тощие черные щиколотки чем-то сбиты до крови.

- Петро, ты тут?

- Тут, - ответил хозяин лошади Черный Петро, всегда пугавший меня улыбкой: и так уж страшен в своей смоляной бороде, а тут еще в этой бороде вдруг вспыхнут крупные зубы.

- Спасибочки за лошадь, Петро.

- Чего быстро управился?

- У меня всех тяжестев - камень под порогом, так я его новому хозяину оставил.

- Не приbedняйся: баба тебе портки в цинковом корыте стирает.

- Сменяем корыто за лошадь, ежели пожаловал.

- Гы!

- Эй, Мирон! Чтой-то ты вроде не в себе?

Мирон скребанул неразгибающейся, очугуневшей от работы пятерней по груди.

- Муторно, братцы!

- Дом новый не хорош?

- Хорош-то хорош, а как ни ступи, пятки жжет.

- Что так?

- Полы крашены... Не привык я по крашеному-то ходить.

- Привыкай, коли власть требует.

- Э-эх! - Мирон снова скребанул по груди. - Вот ежели б мне советска наша власть лошадь помогла огоревать... С лошадью я бы и сам дом поднял,

чужого не надо.

- Зачем тебе лошадь, Мирон? - со своей тонкой улыбочкой вступил в разговор Коробов. - Федор Васильевич тебе стального коня обещает - трактор!

Мирон проблестел на Коробова недобрый глазом.

- Стальное-то мне не к рукам. Ногти о стальное-то обломаю. Мне бы обычное - костяное да жилистое, я б с энтим в землю по уши вьелся.

- А не опасно это, по уши-то? А? - Коробов краем глаза ловил выражение моего отца. - Въеешься в землю - зажиточным станешь, чего доброго, второго коня заведешь, дом железом покроешь, тут-то и кончится твоя масленица!

- Уж не завидуешь ли мне, Тонька? - спросил Мирон.

- Гы! - показал в страшной бороде страшные зубы Черный Петро.

- Завидую, брат. Ты теперь в ласке, а я в опаске. Нынче у меня дом отняли, завтра коней, а послезавтра... - Коробов круто, на каблуках повернулся к моему отцу: - А вдруг да не остановитесь, Федор Васильевич?

- На полдороге не остановимся, не мечтай.

- Слышал, Мирон? Потому и готов я сейчас же пролетарием стать.

- Гы!.. - гыкнул Черный Петро.

- Дело нехитрое, - произнес Мирон. - Отдай мне коней. Я пролетарием-то всю жизнь, поднадоело.

- Гы!.. Гы!..

- А ты примешь, ежели отдам? - спросил Коробов. - Не откажешься?

Мирон сглотнул слюну, побежал глазом в сторону, в сторону, пока его глаз не уперся в коробовских коней на дороге.

- Попробуй проверь, - сказал он.

- По нынешним временам такие кони ой горячи, Мирон! Шибко они меня припекают. Спроси-ка Федора Васильевича, уж он-то лучше моего тебе растолкует.

- Зачем? - с пренебрежением отозвался мой отец. - Еще товарищ Карл Маркс отмечал: ни один мироед-собственник добровольно не отказывался от своей собственности.

- А кто говорит, что я добровольно от коней отрекаюсь?.. Нужда, Федор Васильевич, заставляет. Я их, лапушек, на руках выносил заместо детей. Дороги они мне... - Антон Коробов положил руку на сердце. - Вот тут лежат, с мясом отрывать придется.

- Сам не оторвешь, классовая жадность пораньше тебя родилась, Антон.

- А ежели смогу?

- Ежели б смог, то в наших рядах давно бы был,- ответил отец.

Коробов улыбнулся своей тонкой, скользкой улыбкой.

- А я того и хочу, Федор Васильевич, - в ваших рядах. Хочу вот отдать своих коней, зато чужих брать, дом свой, который бревнышко по бревнышку клал, забыть, чтобы других из домов выселять... К понятию пришел: музыка нынче новая, так по-новому и танцуй.

Отец в ответ улыбнулся презрительно и жестко.

- Лиса в капкан попала - лапу себе отгрызть хочет. Нет, Антон, не примазывайся - разоблачим.

- Разоблачите?.. А что?.. То, что я ваши мысли приму, ваши законы признаю?.. За такое, Федор Васильевич, по голове не бьют, а как раз глядят

да приговаривают: досужий мальчик, послушливый - сердце радуется. - Антон Коробов, прямой, остроплечий, задира на отца бородку, светленько ласкал глазами. Отец, широкий, тяжело давящий сапогами пыльную землю, встречал исподлобья этот ласковый взгляд.

Мирон Богаткин слушал их, выбирал негнушимися пальцами из бороды солому, и его рука заметно дрожала, глаза, прятавшиеся в глазницах, теперь выбрались наружу, они были бутылочно-зеленого цвета и беспокойны - перебежали с моего отца на Коробова, с Коробова на отца, а лицо напряжено, морщины на нем стянуты.

Кони же, о которых шла речь, чуть поуспокоились, грызли удила, судорожили атласной кожей, отгоняя мух. И тем наглядней было их недеревенское совершенство, что ближе к нам в обморочной дреме стояла запряженная в расхлюстанную телегу лошадь Петрухи Черного - пыльно-шерстистая, с прогнутой обильным брюхом спиной, тупоногая, с громадной понуренной головой, с распущенными губами, облепленными мухами.

Мирон снова через силу сглотнул слюну и сказал ссохшимся голосом:

- Слышь, Тонька: чур, я первый!

Коробов повел в его сторону светлым глазом:

- Вынесешь ли, Мирон?

- Мое дело.

- Двоих разом отдаю. Держать-то их в хозяйстве можно только парой. Поодиночке в плугу или на извозе надорвутся.

- Знамо - тонкая кость.

- Тогда что ж... Считай - заметано.

И Мирон, распахнув зеленые глаза, затравленно заоглядывался:

- Чё это?.. Ужель вправду он?.. Чё это, ребята?..

А "ребята" - кучка мужиков-хозяев из "твердой середки", те, что и сами имели коней, но не смели облизываться на "коробовских лебедек",- попритиснулись друг к другу, замерли, раскрыв окосмаченные бородами рты, тарацили глаза, громко сопели и потели. Только Петруха Черный показал из бороды страшные зубы, изрек:

- Чудно!

- Очнись, простота! Покупают тебя по дешевке, - сердито сказал отец.

- Безопасность себе покупаю, Мирон, - спокойно добавил Коробов.

- Неужель вправду коней отдаешь за это?

- Дешевле-то не получается.

- А ведь я соглашусь, Антон Ильич, любый. Меня - на коней?.. Покупай!

Соглашусь!

- Не ты, так другой - кто-то найдется.

- Найдется, паря, найдется. Но и я готов... За твоих коней да хоть душу черту... Готов, Антоша.

- Подумай о чести бедняцкой! На дешевку клюешь! - Голос отца был сухой, нехороший.

- О чести?.. О бедняцкой?.. - Мирон вывернулся боком, перекошил плечи, выгоревший до рыжины, закопченный до черноты, изрезанный морщинами, в холщовой серой рубахе, в крашенных линялых портах, черные сбитые щиколотки тор-

чат из разношенных берестяных ступешек. - Я, Федор Васильевич, сорок осмой год живу на свете и все выглядываю, как бы из энтой чести выскочить подале... Бедняцкая честь, да катись она, постылая!

Мой отец схватил Мирона за выломленное костистое плечо, сильно тряхнул.

- Проспись, глухота! Ликвидация начинается! Слышал: кулака как класс... Хочешь, чтоб вместе с этим классом и тебя, беспортошного, ликвидировали?

Мирон досадливо освободился от отцовской тяжелой руки, нос его заострился, темное лицо посерело, как его заношенная холщовая рубаха, а глаза травянисто цвели.

- Ты, Федор Васильевич, из мужиков-то, видать, выскочил, не поймешь... Коней бери!.. Ни у отца мово, ни у деда такого случая не было, а я пропушу...

- Дура темная! Он спасается, а ты, баран, под обух лезешь!

- Такие кони... Уж знамо, что задешеве не достанутся. Кто б мне в другое-то время таких коней посулил?.. Ты, Федор Васильевич, уже не мужик. Мужики-то, эвон, меня поймут...

Мужики, сбившись в жаркую кучу, дышали и молчали, молчали и глазели, замороженно, жадно, и, похоже, не очень-то понимали.

Мой отец обреченно махнул рукой:

- Баран!

Антон Коробов приподнял мятую шляпу:

- Доброго здоровья, мир честной... Мне пора.

Он двинулся к своим коням молодцевато-легкой поступью, прямой, с занесенной вверх бородкой - взведен! Не дойдя до воза, обернулся к Мирону, стоявшему раскорякой:

- Я не шучу, но и ты обдумай, время есть. Федор Васильевич дело говорит. Мне-то все равно кому...

Мирон только негодующе тряхнул замусоренной бородой.

Коробов не спеша разобрал вожжи, тронул коней с сочным причмоком. А они, легкие, дружно и гибко качнулись, повели дышлом. Воз, тесное нагромождение тучных узлов, расписных сундуков, берестяных коробов, величаво зашатался, ошипованные колеса беззвучно стали давить в пыли четкие колеи.

- Нынче мужик землей наелся... И лошадей мужик скоро выгонит в леса - живите себе, дичайте. И сам мужик будет наг и дик, на Адама безгрешного похож. Птицы божи не сеют, не жнут - сыты бывают... Сыты и веселы...

Дед Санко Овин вглядывался в даль, сквозь людей, размыленно голубым взором, и солнце сияло на его апостольской лысине.

Ему отозвался Петруха Черный:

- Птицы божи... Гы!..

Едва коробовский воз скрылся за бывшим пыхтуновским пятистенком, как раздался радостный выкрик:

- Гляньте-ка: Ваня Акуля едет!

И все сразу встряхнулись, зашевелились, заулыбались, потянулись поближе к дороге.

- Чтой-то лошадей не видать?

- Под шапкой-невидимкой оне.
- Зачем Ване лошади, когда и своих ног у него в хозяйстве много.
- Энти не надсядутся переезжаючи.

По дороге пылило шествие. Впереди - ребятня. Только старший из акуленков был в штанах, на каждом шагу мерцал в прореху голым коленом. Старшего звали странно - Иов, остальных - Анька, Манька, Ганька, Панька. Эти даже ростом мало отличались друг от друга - в рубахах из старой домотканины до колен и ниже, с одинаковыми рябыми головами, стриженными ступеньками бабранными ножницами, с одинаковыми ошпаренными солнцем, облезшими носами, как

один по-мышьиному быстроглазые. Они рысили за Иовом, несли кто что успел ухватить - узелок, кочергу, щербатый заступ. Самому младшему, Паньке, ничего хорошего нести уже не досталось, он нес полено.

За ними в туче пыли с громоздким пестерем за спиной вышагивал сам знаменитый по селу Ваня Акуля. Он в лохматой зимней шапке, но бос, у него сорочье быстроглазое лицо, руки его, длинные, тонкие, как лапы паука-сенокосца, прижимают к паху закопченный чугунок. Ваня Акуля знает, что над ним зубоскалят, потому издалека, на подходе уже начинает выделывать паучьими ногами колена: "Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!.."

За ним отрешенно двигается его медлительная, водянистая, неряшливая жена. Она прижимает обеими руками к груди квашню. Квашня обмотана никогда не стиранный завеской-фартуком, по всему видать, переносится на новое место прямо с тестом - священный сосуд, дарующий жизнь.

Нет беднее в селе семьи. Акуленки даже жили не в избе, а в бане, банный полком служил им на ночь вместо полатей - бок к боку свободно умещались все семеро. Но сейчас они перебирались в дом Антона Коробова, один из самых - если не самый! - лучших в селе. Пятистенок под железной крышей, внутри крашенные полы, в отдельной светелке - особая печь-голландка, обложенная белыми, как молоко, гладкими, как лед, плитками.

Пылят акуленки, выплясывает сам Акуля с громадным, но не тяжким пестерем на спине, из которого торчат обкусанные валяные голенища. Акулькина баба прижимает к груди тяжкую квашню. Двигается племя к новой жизни.

Антон же Коробов, что минуту назад откатил на паре гнедых с рискованно качающимся возом - смех и грех! - должен разместиться в акуленковской баньке с банным полком вместо полатей и, конечно же, некрашеными полами. Но сколько лет он, Антон Коробов, и его бездетная жена ходили по крашеным полам, жили под железной крышей! Свершилось - идет Ваня Акуля!

И мой отец, борцовски опустив плечи, наблюдает за передвижением акуленковского племени.

- Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем!.. - кричит не доходя Ваня Акуля. - Честной компании - мир и почтеньице!.. Федор Васильичу как вождю нашему и руководителю докладаю: Иван Семенихин, по прозванию Акуля,

задание партии выполняет. Да здравствует братство да равенство! Ур-ра-я!

- Иди, короста! - толкает его квашней жена.
- Ур-ра-я, граждане! Братству да равенству!..

И граждане веселятся.

- Кому-кому, а этому от братства и равенства прямая польза!
- Верно сейчас дедко Овин сказал о птицах божьих - не сеют, не жнут, а веселы...
- Адам безгрешный, портки б только снять.
- Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем!.. - Ваня Акуля вскидывает над головой закопченный чугунок.
- Иди, тошнотное! - качая жидкими телесами, сонная, хмурая, прошествовала мимо жена Акули. Руки ее бережно прижимали к груди заряженную квашню
-
сосуд жизни.

Антон Коробов со своим возом не остановился возле акуленковской баньки, а проехал из села на станцию. Жена его еще раньше ушла пешком туда же к знакомым. Коробов пропадал три дня, вернулся с пустой телегой, завернул сразу во двор бывшего пыхтуновского дома к новому хозяину Миرونу Богаткину.

Мы, мальчишки, битый час торчали у забора, жались к штакетинам, ждали, когда выйдут Коробов с Мироном смотреть коней и бить по рукам.

Битья по рукам не случилось. Из избы неожиданно выскочил Мирон, как всегда в своей несметной длинной холщовой рубахе, как всегда выгоревшие до рыжины волосы встрепаны, двигался сейчас с непривычной юркостью, даже, казалось, стал меньше ростом.

Он скатился с крыльца к лошадям, а на крыльцо вышел Антон Коробов в парусиновой городской куртке с нагрудными карманами, в парусиновом картузе, сбитом на затылок, в своих высоких, по самое колено сапогах с твердыми, словно надутыми голенищами. На его смуглом с пепельной бородкой лице цвел вишневенький румянец, Коробов сосал толстую папиросу и жмурил светлые глаза на Мирона. А тот бегал вокруг лошадей, запинаясь, путался в ремнях - мальчишески усердный и мальчишески неумелый. Только один раз Коробов подал голос:

- Удило-то вынь, лапоть!

Мирон освободил от упряжи коней, с куриным прикудахтыванием: "Родненькие... Красавчики..." - утянул в темные распахнутые ворота сначала одного, потом другого. Кони шли за ним неохотно, вскидывали головами, храпели, пытались оглянуться на стоящего на крыльце хозяина.

- Родненькие... Красавчики... Золотые!..

Последний, тот самый, у которого были белые носки на передних ногах и розовые копыта, коротко и нежно проржал. Антон Коробов выплюнул папиросу и тут же достал вторую, но спички ломались в его руках, никак не мог раздобыть огня.

Мирон долго копался в конюшне, наконец выскочил наружу - юркий серый заяц, - быстро завел створки ворот, навесил замок, защелкнул его и с ключом, запеченным в коричневом кулаке, с землистым лицом, встрепанной бородой и глазами, что цвелея водица, двинулся на Коробова.

- Может, возьмешь все-таки деньги? - хрипло спросил он. - Все, что есть, отдам.

Коробов не сразу ответил, усиленно дышал дымом, сказал раздраженно:

- Какие твои деньги...

- Мотри! Станешь просить коней обратно - не выйдет!

- Чего зря воду толочь. Я же тебе бумагу дал. Твое! Владей! Пока владей, скоро отберут.

- Костями лягу.

- Костями... - сплюнул Коробов. - По твоим костям пройдут и хруста не услышат... Прощай. Будет круто, не поминай меня лихом.

- Небось...

Коробов отбросил папиросу, скользяще глянул в Мирона, сказал почти уважительно:

- А ты рисковый... Вот не чаешь, в ком смелость найдешь.

- Вовек не был смелым, - отозвался Мирон.

Тяжело ступая по ступенькам, Коробов спустился с крыльца и на последней споткнулся - из-за дощатых глухих ворот донеслось тоскующее нежное ржание. На холщовом лице Мирона враждебно зеленели глаза, он сжимал в кулаке ключ.

- Слышь, об одном прошу... - хрипло заговорил Коробов, - не бей их за-ради Христа, а лаской, лаской... Я их в жизни ни единова не ударил.

- Мои теперя - лизать буду, уж не сомневайся.

И еще раз прозвучало тоскующее ржание. Антон Коробов дергающейся походкой вышел со двора, не обратив на нас, мальчишек, никакого внимания.

Мирон проводил его настороженными рысьими глазами, и его взведенные костлявые плечи обмякли. Он постоял минуту, словно отдыхая, потом встрепенулся, кинулся к стае, прогремел замком, приоткрыв створку, пролез внутрь, закрылся, застучал деревянным засовом, запираясь вместе с конями от нас, от села, от всего мира.

До сих пор у Мирошки Богаткина самой большой ценностью в хозяйстве было оцинкованное корыто.

Оцинкованное корыто - вещь, а коробовским коням никто в селе цены дать не мог.

Презренный металл не осквернил эту небывалую сделку. Наверно, в тот год советский закон еще признавал права за хозяином частной собственности - хочешь, продавай, хочешь, так отдавай, хочешь, съешь с кашей. Умирал, но еще не умер совсем нэп, коллективизация только начиналась, новорожденный лозунг "Ликвидировать кулачество как класс!" еще не воспринимался со всей беспощадной буквальностью. Сумел ли бы через месяц Антон Коробов отделаться от своих коней? И принял ли бы через месяц Мирон Богаткин этот бесценный и злой подарок? Жизнь тогда менялась с каждым днем - что было законно на прошлой неделе, становилось преступным сейчас.

Меня тогда, разумеется, никак не трогали эти вопросы, однако хорошо помню, что почти все село осуждало Мирона:

- С огнем играет... Икнется ему кисло...

За полями, где кончается земля, холм, поросший лесом, походил на заснувшего медведя. Каждый вечер садившееся солнце выжигало на его спине дремучую шерсть.

В последние дни село по вечерам переживало сумасшедший час - висит красная пыль в воздухе, коровы, козы, овцы мечутся по улице, мычание, бляя-

ние, остервенелые бабьи голоса:

- Марья! Гони ты мою от себя за-ради Христа!

- Пеструха! Пеструха! Пеструшенька! Сюды, любая, сюды! Мы с тобой нонче здесь живем!

- У-у, недоделанная! Каждый вечер ей вицей постановляю - все на старое воротит!

Возвращающаяся после выпасов скотина никак не может внять, что в селе произошло переселение.

Мужики в этой игре в салки участия не принимают. Они, как всегда, вылезают на крылечки, развязывают кисеты, палят табак. Мой отец тоже утверждает на своем крыльце, тоже вынимает кисет. Я пристраиваюсь у него с одного боку. С другого бока подруливает кто-то из мужиков, тянется к отцовскому кисету, завязывает разговор:

- Керосину в лавках нету и мыла. Нету спичек. Бабы ловчат, одну спичку вдоль щепают на четыре части...

- Историю на дыбки поднимаем, а ты о спичках скулишь!

В тот вечер к отцу неожиданно подошел Антон Коробов в светлой куртке с карманами, в светлом картузе на затылке, со светлой улыбочкой в подстриженной бороде.

- Проститься пришел, Федор Васильевич.

Отец подвинулся:

- Садись.

Над улицей висела красная от заката пыль, бабы гонялись за скотиной, ругались и причитали.

- Радуйся, Федор Васильевич, нету больше зажиточного земледельца Антона Коробова, есть свободный пролетарий. - Свободный пролетарий протянул отцу надорванную пачку аппетитно толстых папирос "Пушка", отец не заметил их, взялся за свой кисет. - Был я у самого председателя РИКа товарища Смолевича Льва Борисовича. У товарища Смолевича забот полон рот. Ему, к примеру, в этом году нужно устроить сиротский приют, или - по-нынешнему - детдом. Вот я все, что нажил, - все, кроме дома, который ты у меня отобрал, - при самом товарище Смолевиче отдал обществу "Друг детей", получил за это членскую книжку друга, значок с образом Ленина во младенческих годах и еще бумагу, в которой черным по белому прописано, что чист, ничего не утаил, скинул, так сказать, с себя бремя частной собственности.

- Ловко.

- Обществу "Друг детей" не понадобилась скотина да справа. Товарищ Смолевич объяснил: молочный и тягловый скот, равно как и сельхозинвентарь, должны остаться в селе, так как вскорости здесь организуется артель. Все в целости, Федор Васильевич: инвентарь, какой был, я оставил при доме, Ваня Акуля теперь над ним хозяин - доглядывайте. Корову женка отвела к бабке Ширяхе, а кони... кони у Мирона.

- Ловок, но и мы ведь не простаки.

- И еще по совету товарища Смолевича Льва Борисовича я написал письмо, в котором все как есть от души объяснил, почему я расстаюсь добровольно с презренной частной собственностью. И смею заметить, товарищ Смолевич Лев Борисович назвал мое письмо "пронзительной силы документ"! Он его посылает

в газету и требует немедленного напечатания.

- Та-ак! - протянул мой отец. - Та-ак! Спасибо, что сообщил.

Коробов вежливенько улыбнулся своей тонкой улыбочкой:

- Ничего у тебя не получится, Федор Васильевич.

- И на Смолевича найдем управу!

- Товарищ Смолевич - ленинец, Федор Васильевич, Ленин тоже навстречу нашему брату шел - нэп утвердил.

Отец опустил крупную голову, произнес глухо:

- Ох и скользкий ты враг, Антон! Та глиста, которая изнутри точит.

Коробов ласково щурился в висок моему отцу и не отвечал.

Висела над улицей красная пыль, колготились бабы, мычали коровы, за огородом в бурьяне неистово кричал дергач.

Над уличной неразберихой вознеслось победно-въедливое:

- С-сы дороги!.. Мы на горе всем буржуйам!..

По самой середине закатно-красной дороги, приседая на длинных, ломких ногах, размахивая длинными, угловатыми руками - ни дать ни взять поднявшийся торчком паук-великан, - вышагивал Ваня Акуля.

- С-сы дороги! Пр-ролетарий идет! Ги-ге-мон, в душу мать!..

Лохматая шапка напозала на нос, острокопистый, в цыплячем пуху подбородок задран, портки коротки, открывают голени, босые ступни гегемона корявы и растоптанны.

- Нынче я хозяин! Беднея меня нету! Мне нова власть служит!.. Дор-рогу Иван Макарычу!.. Вот она, наша родима нова власть! Федор Васильевич! Товарищ Тенков! Глянь сюды - гегемон пришел!

Гегемона качало посреди дороги.

- Новоселье праздную! В честь всех вождей нынче выпил! Да здравствует!..

- Где деньги взял? - спросил отец.

- Кофик... Конфик-ско-вал!.. - Ваня Акуля узрел Коробова. - Мироеду и кровопийцу! Наше вам с заплаточкой!.. От передового класса!..

- Что продал, передовой класс? - напомнил Коробов вопрос отца.

- Не жил-лаю буржуем быть! Брезгаю!..

- Уж не из инвентаря ли что?.. Смотри, Федор Васильевич, растащит он инвентарь, не соберете потом.

- Крышу я продал!.. Жылезо! Я хоть и первый ныне, но простой... Все живут под деревянными, а я под жылезной - не жил-лаю!

- Эге! - весело удивился Коробов. - Сколько хоть дали-то?

- Я простой!.. Ставь четверть - бери жылезо!.. Не жил-лаю!..

- Кому? - спросил отец.

- Коней завел! Жылеза захотел! А я презираю!

- Уж не Богаткину ли Мирону?..

- Ему! Жылеза захотел! Презираю!

- Пропал дом, - без особой жалости, пожалуй, даже с торжеством произнес Коробов.

- Не хочу кулацкого! Хочу бедняком! Потому что честь блюду! Потому что... вышли мы все из народу! Дети семьи трудовой!.. А хошь, повеселю пар-

тейного человека?.. И ты, мироед-кровопийца, смотри - разрешаю!..

И-их, лапти мои -
Скороходики!..

Ваня Акуля, развесив по сторонам руки-грабли, начал месить черными ногами дорожную пыль.

Все мы вышли из семьи -
Из народика!

И давно уже сбежались мои приятели-ребятишки. И бабы бросили загонять коров, и кой-кто из мужиков, кряхтя, сполз с крылечка, подчалил поближе.

Рожь в версту, овес с оглоблю
На плечи родилси!
Я советску власть люблю,
Не на той женил-си!

- Федор Васильевич кровь свою проливал, чтоб Ванька, кого за назем считали, во главу... Ги-ге-мон! Мы на горе всем буржуям мировой пожар... Тебя, Тонька Коробов, скovyрнули - меня выдвинули! Во как!..

Коробов расхохотался. Мой отец, пряча лицо, глухо, с угрозой произнес в землю:

- Ступай, шут, проспись!

- Иду, Федор Васильевич, иду... Сею мену!.. Но не спать!.. Не-ет!.. Да здравствует наша родная советская власть!

Он зашатался вдоль улицы на подламывающихся ногах, развесив длинные руки, неестественно большеголовый от напыленной лохматой шапки, - нескладное насекомое. И к накаленно закатным крышам возносился его голос:

- Мы на горе всем буржуям!..

Мой отец сутулил плечи, смотрел в землю. Антон Коробов, ухмыляясь, выуживал из надорванной пачки новую папиросу "Пушка".

Люди, посмеиваясь, расходились. Мои приятели-ребятишки удрали за развеселым Ваней Акулей. Я не тронулся, не хотел бросать своего отца, почему-то мне было его жаль сейчас.

- Ох-хо-хо! И вышла из дыма саранча на землю, и дадена была ей власть, кою имеют скорпионы... - В длинной, до колен, белой рубахе, сам длинный, прямой, бестелесный, но с тяжелым кирпичным черепом, стоял в стороне Санко Овин. - Царем над собою саранча поимела ангела бездны по имени Аваддон... И сказано дале: энто только одно горе, аще два грядет... Ох-хо-хонюшки! Аще два ждите... - Дед Санко постоял, качнулся раз, отдохнул немного, качнулся другой раз, с натугой переставил тяжелый валенок, пошел, опираясь на сучковатую клюку.

Лиловые сумерки обволакивали село.

Коробов первым нарушил молчание:

- "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем..." Когда что-то го-

рит, акулькам весело - уж они, верь, доведут до пепла...

Отец не ответил, сидел словно каменный.

- Товарищ Смолевич поумней тебя будет.

Отец пошевелился и сказал негромко:

- Акулька много не спалит, а вот ежели б тебе волю дать...

- Мне б волю дать, я бы... великую Россию досыта накормил.

- И стал бы царем - на руках носи.

- Могёт быть.

По небу разлилось зеленое половодье, в нем стылым серебряным пузырьком висела блеклая звездочка. Село угомонилось, продолжал надрывно кричать дергач - таинственная птица, которую каждый слышит и никто не видит.

Коробов отбросил папиросу и встал:

- Прощай, Федор Васильевич. Мы еще усядемся вместе за красный стол...

Хотя... ты прям, как дышло, такие не гнутся, да быстро ломаются. За красным столом я уж, верно, с товарищем Смолевичем посижу.

Коробов легко спрыгнул с крыльца, промаячил в темноте светлым кителем и растаял, но долго еще звучали в тишине прозрачно-звонкие, четкие шажочки. И по сей день я слышу их, и встает перед глазами статная, прямая фигура в летящей походочке - кулак, увильнувший от раскулачивания.

Отец зябко передернул плечами, тяжело поднялся:

- Пойдем в дом, Володька... Холодно что-то.

Шаги стихли. Кричал дергач.

На другой день по селу разносился громкий стук молотка о железо. Мирон Богаткин, босоногий, острозадый, ползал на карачках по крыше дома Антона Коробова и отдирал купленное у Вани Акули железо.

На другой стороне улицы стоял досужий люд, задрал головы на залатанный Миронов зад, судил:

- Неделю как и всего-то цинково корыто у него было.

- Растет репей.

- Прополют, нонче долго ли.

Самого Вани Акули среди досужих не было. Он после вчерашнего веселья отсыпался дома под грохот Миронова молотка. Во дворе на бревнышке, так, чтобы можно было видеть работающего Мирона, сидела серьезная жена Вани

Аку-

ли, равнодушно лускала тыквенные семечки. Акуленковская ребятня, похожие друг на друга Анька, Манька, Ганька, Панька, тут же толкалась, радовалась - вон сколько собралось народу возле их дома! Старший, Иов, был диковат, от людей прятался.

Кто-то радостно возвестил:

- Партия сюды идет!

- Сейчас объяснит Мирошке на пальцах.

- Эй, Мирон, гость к тебе - встречай!

Мой отец подошел вплотную к дому, задрал голову и, когда Мирон появился с очередным листом на краю крыши, приказал:

- Слазь, Мирон!

Мирон с грохотом сбросил лист, деловито высморкался, вытер черные пальцы о портки, ответил с достоинством:

- Некогда мне, Федор Васильевич, слазить. Говори уж так.
- Разговор-то крупный, Мирон, и не для всех.
- Чего таиться, чай, не за воровство журить меня собрался. Купленное забираю.

- Детей, дурак, без отца оставишь.

- Жалеешь!

- Жалею.

- Тогда и заступишься.

- Не смогу заступиться. Ни я, ни кто другой.

- Слабак, значит. Ну и не путайся. Я, может, денек первым человеком в селе пожить желаю.

- Сам же недавно кулаков клял, теперь в клятые лезешь.

- Нынче другое звание мне вышло - не нищесброд.

- Дом отыдем, коней отыдем и накажем по закону!

Мирон распрямился на крыше во весь рост, снова презрительно высморкался. Снизу под оттопыренной рубахой был виден его голый тощий живот.

- Отымете?.. Эт пожалте. Только помни, Федор, я убью тебя, когда ты руку к моим коням протянешь. Я не Тонька Коробов, я без хитростей... Ничегошеньки не боюсь. - Мирон повернулся спиной, стал на четвереньки и полез наверх.

В это время из сеней выполз Ваня Акуля, должно быть, проснулся от наступившей после грохота тишины. Без знакомой шапки на голове, с протертым острым темечком, опухший, трупно-зеленый, с затравленно бегающими глазками, он двинулся по двору, мучительно морщась, бережно неся на весу свои дрожащие руки.

- Ми-иро-он! - плачущим, детски слабеньким голоском позвал он. - Ми-ро-он!

- Чего тебе? - недовольно отозвался Мирон с высоты.

- Дай еще на полдиковинки, Мирон.

- Допрежь надо было торговаться.

- Ми-ир-он! Жылезо заберу... Полдиковинки, Мироша-а.

Мирон ожесточенно загремел молотком.

Ваня Акуля при каждом ударе вздрагивал опухшими губами и щеками, мучительно морщился, глядел на всех просительно увлажненными глазками. А все смеялись, советовали:

- Лезь на крышу, там ближе к богу.

- За ногу стяни.

- Смерть моя, братцы-ы! - стонал Ваня.

Вместе со всеми визгливо смеялись над отцом Анька, Манька, Ганька, Панька, а со стороны серьезно и невозмутимо поплевывала тыквенной шелухой жена, наблюдала.

- Федор Васильевич! - Ваня двинулся к моему отцу. - Будь защитником! Ограбил меня Мирошка!.. Я ж ему за дешевку!.. Реквизуй, Федор Васильевич! - Он шел на пригибающихся ногах, тянул к отцу длинные трясущиеся руки. А наверху, - под синим небом, гремел железом Мирон. - Фе-е-дор Василь-ич!

Отец резко повернулся и пошел прочь - тугая широкая спина ссутулена, голова пригнута, почему-то мне опять до боли, до крика стало жаль отца.

Ваня Акуля проводил его долгим тоскующим взглядом, потоптался, снова обернулся к людям и вдруг с неожиданной силой и страстью заломил над головой руки:

- Братцы-ы! Смилуйтесь!.. Братцы-ы! Полдиковинки всего... Заставьте изверга миром, войдите в положение!.. Тош-не-хонь-ко! Бра-а-ат-цы!

Все глядели на него и покатывались, стонали от смеха. Анька, Манька, Ганька, Панька плясали, путаясь в длинных рубахах. Даже невозмутимая жена Вани Акули, не переставая выплевывать тыквенную шелуху, раскисала в улыбочке. Смеялся и я.

- Бра-ат-цы-ы! Тошне-хонь-ко!

В небе победно гремел железом Мирон.

Отец часто стал повторять одну фразу. Сидел на крыльце вечером, слушал дергача, курил, вдруг встряхивался:

- Что-то тут не продумано.

Читал после обеда газеты, откладывая их, морщил лоб:

- Что-то тут не совсем...

Рассказывал матери об очередном собрании, обрывал себя на полуслове, задумывался:

- Что-то тут у нас...

Антон Коробов исчез из села в тот же вечер, сразу же после разговора с отцом. Он уже не слышал, как Мирон гремел железом на крыше его дома. Никто из наших больше не слышал об Антоне Коробове. Отец не сомневался: "Этот устроится... Что червяк в яблоке".

Во время дождей ободранная крыша коробовского пятистенка пропускала воду, как решето. Ваня Акуля, кляня кулацкие палаты, вместе с ребятишками, верной женой, прихватив квашню - сосуд жизни, перебрался обратно в свою баньку.

Несколько раз Мирон выезжал на своих конях. Гнедые кони по-прежнему лоснились, словно выкупанные, скупно отливали золотом. Мирон был темен лицом, расхлюстан, размахивая концами вожжей, он пролетал со стукотком из конца в конец - черноногий Илья-громовержец на колеснице. Мой отец ему больше не мешал: "Пусть... пока... Придет время, приведем в чувство".

Мирону, конечно, передавали эти слова, и он визгливо кричал: "Зоб вырву! Я нонче человек отчаянный!"

Отцу не довелось приводить в чувство Мирона. Его срочно перевели в другой район на более ответственную работу. Мы уехали из села.

Но уехали недалеко. На конференциях и областных совещаниях отец встречался с работниками старого района. Никто из них не вспоминал о Мироне Богаткине - шла сплошная коллективизация, раскулачивали и ссылали тысячами.

Нет, никому он не вырвал зоб, никого он не испугал, иначе вспомнили бы.

Отобрали ли у Мирона его оцинкованное корыто?..

Коней-то уж отобрали. Они вместе с брюхастой лошадежкой Петрухи Черного попали в колхозные конюшни... А какие кони были!

Позволю себе, когда это будет возможно, напрямую обращаться к документам. Не хочу и не могу давать развернутого обоснования, они отяжелили бы и занаукообразили мой литературный труд. Самое большее, на что я способен, - бросить лишь документальную реплику по ходу дела.

Итак, первая документальная реплика.

По данным "Истории КПСС", изданной Госполитиздатом в 1960 году (стр. 441), с начала 1930 по конец 1932 года было выселено 240757 кулацких семей. Есть основание считать эту цифру сильно заниженной, хотя умиляет ее точность - не 240 тысяч и не 241 тысяча, а именно 240757, ни больше, ни меньше, извольте верить, старались, считали, не закругляли. К слову сказать, и это уже всепланетный рекорд. Крестьянские семьи из пяти человек не считались большими. Помножив на пять указанное число высланных семейств, получаем более миллиона двухсот тысяч человек. До того времени история еще не знала столь массово грандиозных репрессивных кампаний. <По данным специальной проверки комиссии ВЦИК ВКП (б) за 1930 - 1931 годы, была выселена 381 тысяча кулацких семей ("Вопросы истории КПСС", 1975, № 5. стр. 140).>

Однако неопубликованная инструкция ЦИК и СНК СССР от 4 февраля 1930 года предлагала подвергнуть выселению свыше миллиона кулацких семейств, подразделяя их на три категории.

Первая. Самые непримиримые, совершающие террористические акты, подбивающие на восстания. Таких предположительно было чуть больше 60 тысяч. Инструкция требовала наказывать их вплоть до расстрела, а членов семей выселять в отдаленные районы.

Вторая. Кулаки наиболее богатые, но в терроризме не замеченные - около 150 тысяч хозяйств. Выселять с семьями, и подальше.

Третья. Умеренно богатые кулаки, а значит, и умеренно активные. Нетрудно подсчитать, что к этой категории относилось около 800 тысяч хозяйств. Выселять в места не столь отдаленные - в пределах того района, где проживали, на земли, не занятые колхозами. Следует заметить, что таковых земель - неколхозных - при сплошной коллективизации, увы, не оказалось, были лишь земли необжитые на окраинах нашей великой страны.

Выходит, что высокая инструкция так и не была полностью выполнена? Тогда чем объяснить громкие упреки в перегибах, высказанные самим Сталиным в громогласной статье "Головокружение от успехов"? Их повторяли и другие: например, журнал "Большевик" в 1930 году (№ 6, стр. 20) писал, что в одном из сельсоветов некоего Батурина района постановили раскулачить (а значит, и выселить) тридцать четыре хозяйства, при проверке же выяснилось - существует лишь три действительно кулацких семейства. Пример, показывающий, что инструкция выполнялась в десятикратном размере - за счет ареста середняков и бедняков.

Уинстон Черчилль в своей книге "The second world war" ("Вторая мировая война") вспоминает о десяти пальцах Сталина, которые тот показал, отвечая ему на вопрос о цене коллективизации. Десять сталинских пальцев могли, видимо, означать десять миллионов раскулаченных - брошенных в тюрьмы, высланных на голодную смерть крестьян разного достатка, мужчин и женщин, стариков и детей.

Историк Рой Медведев, у которого я позаимствовал здесь основные доку-

ментальные сведения, приводит и свидетельскую картинку поэтапного крестьянского выселения: "Старый член партии Э. М. Ландау встретил в 1930 году в Сибири один из таких этапов. Зимой в сильный мороз большую группу кулаков с семьями перевозили на подводах на 300 километров в глубь области. Дети кричали и плакали от голода. Один из мужиков, не выдержав крика младенца, сосущего пустую грудь матери, выхватил ребенка из рук жены и разбил ему голову о дерево".

1969-1971

Текст печатается по изданию: Тендряков В. Ф. Люди или нелюди: Повести и рассказы. - М.: Современник, 1990. - Пара гнедых. С. 428-451.

ХЛЕБ ДЛЯ СОБАКИ

Лето 1933 года.

У прокопченного, крашенного казенной охрой вокзального здания, за вылущенным заборчиком - сквозной березовый скверик. В нем прямо на утопанных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыльной травке валялись те, кого уже не считали людьми.

Правда, у каждого в недрах грязного, вшивого тряпья должен храниться - если не утерян - замусоленный документ, удостоверяющий, что предьявитель сего носит такую-то фамилию, имя, отчество, родился там-то, на основании такого-то решения сослан с лишением гражданских прав и конфискацией имущества. Но уже никого не заботило, что он, имярек, лишенец, адмовысланный, не доехал до места, никого не интересовало, что он, имярек, лишенец, нигде не живет, не работает, ничего не ест. Он выпал из числа людей.

Большей частью это раскулаченные мужики из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины. Вместе с ними в наши северные места прибыло и южное словечко "куркуль".

Куркули даже внешне не походили на людей.

Одни из них - скелеты, обтянутые темной, морщинистой, казалось, шуршащей кожей, скелеты с огромными, кротко горящими глазами.

Другие, наоборот, туго раздуты - вот-вот лопнет посиневшая от натяжения кожа, тела колышутся, ноги похожи на подушки, пристроченные грязные пальцы прячутся за наплывами белой мякоти.

И вели они себя сейчас тоже не как люди.

Кто-то задумчиво грыз кору на березовом стволе и взирал в пространство тлеющими, нечеловечьи широкими глазами.

Кто-то, лежа в пыли, источая от своего полуистлевшего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирал пальцы с такой энергией и упрямством, что, каза-

лось, готов был счистить с них и кожу.

Кто-то расплылся на земле студнем, не шевелился, а только клекотал и булькал нутром, словно кипящий титан.

А кто-то уныло запихивал в рот пристанционный мусорок с земли...

Больше всего походили на людей те, кто уже успел помереть. Эти покойно лежали - спали.

Но перед смертью кто-нибудь из кротких, кто тишайше грыз кору, вкушал мусор, вдруг бунтовал - вставал во весь рост, обхватывал лучинными, ломкими руками гладкий, сильный ствол березы, прижимался к нему угловатой щекой, открывал рот, просторно черный, ослепительно зубастый, собирался, наверное, крикнуть испепеляющее проклятие, но вылетал хрип, пузырилась пена. Обдирая кожу на костистой щеке, "бунтарь" сползал вниз по стволу и... затихал на-совсем.

Такие и после смерти не походили на людей - по-обезьяньи сжимали деревья.

Взрослые обходили скверик. Только по перрону вдоль низенькой оградки бродил по долгу службы начальник станции в новенькой форменной фуражке с кричаще красным верхом. У него было оплывшее, свинцовое лицо, он глядел себе под ноги и молчал.

Время от времени появлялся милиционер Ваня Душной, степенный парень с застывшей миной - "смотри ты у меня!".

- Никто не выполз? - спрашивал он у начальника станции.

А тот не отвечал, проходил мимо, не подымал головы.

Ваня Душной следил, чтоб куркули не расползались из скверика - ни на перрон, ни на пути.

Мы, мальчишки, в сам скверик тоже не заходили, а наблюдали из-за заборчика. Никакие ужасы не могли задушить нашего зверушечьего любопытства. Окаменев от страха, брезгливости, изнемогая от упрямой панической жалости, мы наблюдали за короедами, за вспышками "бунтарей", кончающимися хрипом, пеной, сползанием по стволу вниз.

Начальник станции - "красная шапочка" - однажды повернулся в нашу сторону воспаленно-темным лицом, долго глядел, наконец изрек то ли нам, то ли самому себе, то ли вообще равнодушному небу:

- Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью. Что за мир станет жить после нас? Что за мир?..

Долго выдержать сквера мы не могли, отрывались от него, глубоко дыша, словно проветривая все закоулки своей отравленной души, бежали в поселок.

Туда, где шла нормальная жизнь, где часто можно было услышать песню:

Не спи, вставай, кудрявая!

В цехах звеня,

страна встает со славою

на встречу дня...

Уже взрослым я долгое время удивлялся и гадал: почему я, в общем-то впечатлительный, уязвимый мальчишка, не заболел, не сошел с ума сразу же

после того, как впервые увидел куркуля, с пеной и хрипом умирающего у меня на глазах.

Наверное, потому, что ужасы сквера появились не сразу и у меня была возможность как-то по привыкнуть, обмозолиться.

Первое потрясение, куда более сильное, чем от куркульской смерти, я испытал от тихого уличного случая.

Женщина в опрятном и поношенном пальто с бархатным воротничком и столь же опрятным и поношенным лицом на моих глазах поскользнулась и разбила стеклянную банку с молоком, которое купила у перрона на станции. Молоко вылилось в обледеневший нечистый след лошадиного копыта. Женщина опустилась

перед ним, как перед могилой дочери, придушенно всхлипнула и вдруг вынула из кармана простую обгрызенную деревянную ложку. Она плакала и черпала ложкой молоко из копытной ямки на дороге, плакала и ела, плакала и ела, аккуратно, без жадности, воспитанно.

А я стоял в стороне и - нет, не ревел вместе с ней - боялся, надо мной засмеются прохожие.

Мать давала мне в школу завтрак: два ломтя черного хлеба, густо намазанных клюквенным повидлом. И вот настал день, когда на шумной перемене я вынул свой хлеб и всей кожей ощутил установившуюся вокруг меня тишину. Я растерялся, не посмел тогда предложить ребятам. Однако на следующий день я взял уже не два ломтя, а четыре...

На большой перемене я достал их и, боясь неприятной тишины, которую так трудно нарушить, слишком поспешно и неловко выкрикнул:

- Кто хочет?!

- Мне шматочек, - отозвался Пашка Быков, парень с нашей улицы.

- И мне!.. И мне!.. Мне тоже!..

Со всех сторон тянулись руки, блестели глаза.

- Всем не хватит! - Пашка старался оттолкнуть напиравших, но никто не отступал.

- Мне! Мне! Корочку!..

Я отламывал всем по кусочку.

Наверное, от нетерпения, без злого умысла, кто-то подтолкнул мою руку, хлеб упал, задние, желая увидеть, что же случилось с хлебом, наперли на передних, и несколько ног прошло по кускам, раздавило их.

- Пахорукий! - выругал меня Пашка.

И отошел. За ним все поползли в разные стороны.

На окрашенном повидлом полу лежал растерзанный хлеб. Было такое ощущение, что мы все вгорячах нечаянно убили какое-то животное.

Учительница Ольга Станиславна вошла в класс. По тому, как она отвела глаза, как спросила не сразу, а с еле приметной запинкой, я понял - она голодна тоже.

- Это кто ж такой сытый?

И все те, кого я хотел угостить хлебом, охотно, торжественно, пожалуй, со злорадством объявили:

- Володька Тенков сытый! Он это!..

Я жил в пролетарской стране и хорошо знал, как стыдно быть у нас сы-

тым. Но, к сожалению, я действительно был сыт, мой отец, ответственный служащий, получал ответственный паек. Мать даже пекла белые пироги с капустой и рубленым яйцом!

Ольга Станиславна начала урок.

- В прошлый раз мы проходили правописание... - И замолчала. - В прошлый раз мы... - Она старалась не глядеть на раздавленный хлеб. - Володя Тенков, встань, подбери за собой!

Я покорно встал, не пререкаясь, подобрал хлеб, стер вырванным из тетради листком клюквенное повидло с пола. Весь класс молчал, весь класс дышал над моей головой.

После этого я наотрез отказался брать в школу завтраки.

Вскоре я увидел истощенных людей с громадными кротко-печальными глазами восточных красавиц...

И больных водянкой с раздутыми, гладкими, безликими физиономиями, с голубыми слоновьими ногами...

Истощенных - кожа и кости - у нас стали звать шкилетниками, больных водянкой - слонами.

И вот березовый сквер возле вокзала...

Я кой к чему успел привыкнуть, не сходил с ума.

Не сходил с ума я еще и потому, что знал: те, кто в нашем привокзальном березнячке умирал среди бела дня, - враги. Это про них недавно великий писатель Горький сказал: "Если враг не сдается, его уничтожают". Они не сдавались. Что ж... попали в березняк.

Вместе с другими ребятами я был свидетелем нечаянного разговора Дыбакова с одним шкилетником.

Дыбаков - первый секретарь партии в нашем районе, высокий, в полувоенном кителе с рублено прямыми плечами, в пенсне на тонком горбатом носу. Ходил он, заложив руки за спину, выгнувшись, выставив грудь, украшенную накладными карманами.

В клубе железнодорожников проходила какая-то районная конференция. Все руководство района во главе с Дыбаковым направлялось в клуб по усыпанной толченым кирпичом дорожке. Мы, ребяташки, за неимением других зрелищ тоже

сопровождали Дыбакова.

Неожиданно он остановился. Поперек дорожки, под его хромовыми сапогами, лежал оборванец - костяк в изношенной, слишком просторной коже. Он лежал на толченом кирпиче, положив коричневый череп на грязные костяшки рук, глядел снизу вверх, как глядят все умирающие с голоду - с кроткой скорбью в неестественно громадных глазах.

Дыбаков переступил с каблука на каблук, хрустнул насыпной дорожкой, хотел было уже обогнуть случайные мощи, как вдруг эти мощи разжали кожистые губы, сверкнули крупными зубами, сипяще и внятно произнесли:

- Поговорим, начальник.

Обвалилась тишина, стало слышно, как далеко за пустырем возле барачков кто-то от безделья тенорит под балалайку:

Хорошо тому живется,
У кого одна нога, -
Сапогов не много надо
И портошина одна.

- Аль боишься меня, начальник?

Из-за спины Дыбакова вынырнул райкомовский работник товарищ Губанов, как всегда с незастегивающимся портфелем под мышкой:

- Мал-чуть! Мал-чуть!..

Лежащий кротко глядел на него снизу вверх и жутко скалил зубы. Дыбаков движением руки отмахнул в сторону товарища Губанова.

- Поговорим. Спрашивай - отвечу.

- Перед смертью скажи... за что... за что меня?.. Неужель всерьез за то, что две лошади имел? - шелестящий голос.

- За это, - спокойно и холодно ответил Дыбаков.

- И признаёшься! Ну-у, заверюга...

- Мал-чуть! - подскочил опять товарищ Губанов.

И снова Дыбаков небрежно отмахнул его в сторону.

- Дал бы ты рабочему хлеб за чугуна?

- Что мне ваш чугуна, с кашей есть?

- То-то и оно, а вот колхозу он нужен, колхоз готов за чугуна рабочих кормить. Хотел ты идти в колхоз? Только честно!

- Не хотел.

- Почему?

- Всяк за свою свободушку стоит.

- Да не свободушка причина, а лошади. Лошадей тебе своих жаль. Кормил, холил - и вдруг отдай. Собственности своей жаль! Разве не так?

Доходяга помолчал, помигал скорбно и, казалось, даже готов был согласиться.

- Отыми лошадей, начальник, и остановись. Зачем же еще и живота лишать? - сказал он.

- А ты простишь нам, если мы отыдем? Ты за спиной нож на нас точить не станешь? Честно!

- Кто знает.

- Вот и мы не знаем. Как бы ты с нами поступил, если б чувствовал - мы на тебя нож острый готовим?.. Молчишь?.. Сказать нечего?.. Тогда до свидания.

Дыбаков перешагнул через тощие, как палки, ноги собеседника, двинулся дальше, заложив руки за спину, выставив грудь с накладными карманами. За ним, брезгливо обогнув доходягу, двинулись и остальные.

Он лежал перед нами, мальчишками, - плоский костяк и тряпье, череп на кирпичной крошке, череп, хранящий человеческое выражение покорности, усталости и, пожалуй, задумчивости. Он лежал, а мы осуждающе его разглядывали. Две лошади имел, кровопиец! Ради этих лошадей стал бы точить нож на нас. "Если враг не сдаётся..." Здорово же его отделал Дыбаков.

И все-таки было жаль злого врага. Наверное, не только мне. Никто из ребяташек не заплясал над ним, не стал дразнить:

Враг-вражина,
Куркуль-кулачина
Кору жрёт.
Вошей бьёт,
С куркулихой гуляет -
Ветром шатает.

Я сиделся дома за стол, тянулся рукой к хлебу, и память разворачивала картины: направленные вдаль, тихо ошалелые глаза, белые зубы, грызущие кору, клокочущая внутри студенистая туша, разверстый черный рот, хрип, пена... И под горло подкатывала тошнота.

Раньше мать про меня говорила: "На этого не пожалуюсь, что ни поставь - уминает, за ушами трещит". Сейчас она подымала крик:

- Заелись! С жиру беситесь!..

"С жиру бесился" я один, но если мать начинала ругаться, то всегда ругала сразу двоих - меня и брата. Брат был моложе на три года, в свои семь лет умел переживать только за самого себя, а потому ел - "за ушами трещит".

- Беситесь! Супу не хотим, картошки не хотим! Кругом люди черствому сухарю рады-радехоньки. Вам хоть рябчиков подавай.

О рябчиках я только читал стишки: "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!" Объявить голодовку, вообще отказаться от еды я не мог. Во-первых, не разрешила бы мать. Во-вторых, тошнота тошнотой, картинка картинками, а есть-то мне все-таки хотелось, и вовсе не буржуйских рябчиков. Меня заставляли проглотить первую ложку, а уж дальше шло само собой, я расправлялся с обедом, вставал из-за стола отяжелевший.

Вот тут-то всё и начиналось...

Мне думается, совести свойственно чаще просыпаться в теле сытых людей, чем голодных. Голодный вынужден больше думать о себе, о добывании для себя хлеба насущного, само бремя голода понуждает его к эгоизму. У сытого больше возможности оглянуться вокруг, подумать о других. Большей частью из числа сытых выходили идейные борцы с кастовой сытостью - Гракхи всех времен.

Я вставал из-за стола. Не потому ли в привокзальном сквере люди грызут кору, что я съел сейчас слишком много?

Но это же куркули грызут кору! Ты жалеешь?.. "Если враг не сдается, его уничтожают!" А это "уничтожают" вот так, наверное, и должно выглядеть - черепа с глазами, слоновьи ноги, пена из черного рта. Ты просто боишься смотреть правде в глаза.

Отец как-то рассказывал, что в других местах есть деревни, где от голода умерли все жители до единого - взрослые, старики, дети. Даже грудные дети... Про них-то уж никак не скажешь: "Если враг не сдается..."

Я сыт, очень сыт - до отвала. Я съел сейчас столько, что, наверное, пятерым хватило бы спастись от голодной смерти. Не спас пятерых, съел их жизнь. Только чью - врагов или не врагов?..

А кто враг?.. Враг ли тот, кто грызет кору? Он им был - да! - но сейчас ему не до вражды, нет мяса на его костях, нет силы даже в его голосе...

Я съел весь свой обед сам и ни с кем не поделился.

Есть мне приходится по три раза в день.

Как-то под утро я внезапно проснулся. Мне ничего не приснилось, просто взял да открыл глаза, увидел комнату в загадочно-пепельном сумраке, за окном серенький, уютный рассвет.

Далеко на пристанционных путях заносчиво прокричала маневровая "овечка". Ранние синицы попискивали на старой липе. Скворец-папаша прочищал горло, пробовал петь по-соловьиному - бездарь! С болот на задах нежно, убеждающе закуковала кукушка. "Кукушка! Кукушка! Сколько мне жить?" И она роняет и роняет свое "ку-ку", как серебряные яички.

И все это происходит в удивительно покойных сереньких сумерках, в тесном, притушенном, уютном мире. В нечаянно вырванную у сна минуту я вдруг тихо радуюсь очевиднейшему факту - существует на белом свете некий Володька Тенков, человек десяти лет от роду. Существует - как это прекрасно! "Кукушка! Кукушка! Сколько мне?.." "Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!.." Щедра без устали.

В это время далеко, где-то в самом конце нашей улицы загремело. Распарывая сонный поселок, приближалась расхлябанная телега, сминая серебряный голос кукушки, писк синиц, потуги бездарного скворца. Кто это и куда так сердито спешит в такую рань?..

И неожиданно меня ожгло: кто? да ясно! Об этих ранних поездках говорит весь поселок. Комхозовский конюх Абрам едет "собирать падалицу". Каждое утро он въезжает на своей телеге прямо в привокзальный березняк, начинает шевелить лежащих - жив или нет? Живых не трогает, мертвых складывает в телегу, как дровяные чурки.

Гремит расхлябанная телега, будит спящий поселок. Гремит и стихает.

После нее не слышно птиц. Какую-то минуту просто никого и ничего не слышно. Ничего... Но странно - нет и тишины. "Кукушка! Кукушка!.." Ах, не надо! Не все ли равно, сколько лет проживу на свете? Да так ли уж мне хочется долго жить?..

Но словно ливень из-под крыши, обрушились проснувшиеся воробьи. Зазвенели ведра, раздались женские голоса, заскрипел ворот колодца.

- Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! Любая работа! - Сильный, с вызовом баритон.

- Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! - повторил мальчишеский альти.

Это тоже высланные куркули - отец и сын. Отец - высокий, костляво-плечистый, бородатый, сурово-важный, сын - жилисто-худенький, веснушчатый, очень серьезный, постарше меня года на два, на три.

Каждый наш день начинается с того, что они громко, в два голоса, почти высокомерно предлагают поселку чистить помойки.

Я не должен есть свои обеды один. Я обязан с кем-то делиться. С кем?.. Наверное, с самым, самым голодным, даже если он враг. Кто - самый?.. Как узнать? Не трудно. Следует пойти в березовый скверик и протянуть руку с куском хлеба первому же попавшемуся. Ошибиться нельзя, там все - самые, самые, иных нет.

Одному протянуть руку, а других не заметить?.. Одного осчастливить, а

десятки обидеть отказом? И это будет воистину смертельная обида. Те, к кому рука не протянется, будут вывезены конюхом Абрамом.

Могут ли обойденные согласиться с тобой?.. Не опасно ли открыто протягивать руку помощи?..

Конечно же, я тогда думал не так, не такими словами, какими пишу сейчас, тридцать шесть лет спустя. Скорей всего я тогда вовсе не думал, а остро чувствовал, как животное, интуитивно угадывающее будущие осложнения. Не разумом, а чутьем тогда я осознал: благородное намерение - разломи пополам свой хлеб насущный, поделись с ближним - можно свершить только тайком от других, только воровски!

Я украдкой, воровски не доел то, что поставила передо мной на стол мать. Я воровски загрузил в свои карманы честно сэкономленные три куска хлеба, завернутый в газету комок пшенной каши величиной с кулак и чистый, совершенный, как кристалл, кусочек сахара-рафинада. Среди бела дня я вышел на воровское дело - на тайную охоту на самого, самого голодного.

Я встретил Пашку Быкова, с которым учился в одном классе, жил на одной улице, дружить не дружил, а враждовать остерегался. Я знал, что Пашка голоден всегда - днем и ночью, до обеда и после обеда. Семья Быковых - семь человек, все семеро живут на рабочие карточки отца, который работает сцепщиком на железной дороге. Но я не поделился с Пашкой хлебом - не самый...

Я встретил скрюченную бабку Обноскову, которая жила тем, что собирала на обочинах дорог, на полях, на опушках леса травки и корешки, сушила, варила, парила их... Другие такие одинокие старухи все поумирали. Я не поделился с бабкой - еще не самая.

Мимо меня протрусил Борис Исаакович Зильбербрунер в галошках, привязанных веревочками к грязным лодыжкам. Если б я встретил этого Зильбербрунсра раньше, то, как знать, возможно, решил - тот самый. Недавно он был одним из шкилетников, торчащих возле столовки, но приноровился делать рыболовные крючки из проволоки, за них платили даже куриными яйцами.

Наконец я налетел на одного из шатающихся по поселку слонов. Широченный, что платяной шкаф, в просторном мужицком малахае цвета пахотной земли, в запорожской, казацкой шапке - грачиное гнездо, с пышными, голубовато-бледными ногами, которые при каждом шаге тряслись, как овсяный кисель, и смогли бы уместиться только каждая в банной лохани.

Может, и он был еще не тот самый... Продолжи я свою охоту, наверное, наскочил бы на более несчастного, но остатки обеда жгли меня сквозь карманы, требовали: делись немедленно!

- Дяденька...

Он остановился, тяжело дыша, нацелил на меня со своей башенной высоты глаза-щелки.

Бледное раздутое лицо вблизи поражало неестественным гигантизмом - какие-то плавающие, словно дряблые ягодицы, щеки, низвергающийся на грудь подбородок, веки, совсем утопившие в себе глаза, широченная, натянутая до трупной синевы переносица. На таком лице ничего нельзя прочесть, ни страха, ни надежды, ни растроганности, ни подозрительности, - подушка.

Терзая карман, я неловко стал освобождать первый кусок хлеба.

Разглаженная физиономия дрогнула, туго надутая, с короткими, грязными,

несгибающимися пальцами кисть протянулась, взяла кусок нежно, настойчиво, нетерпеливо. Так берет из руки хлеб теленок с теплым носом и мягкими губами.

- Спасибо, хлопчик, - сказал фистулой слон.

Я выложил ему все, что у меня было.

- Завтра... На пустыре... Возле штабелей... Что-нибудь еще... - пообещал я и кинулся прочь с облегченными карманами и облегченной совестью.

Весь день я был счастлив. Внутри, в подреберье, где живет душа, было прохладно и тихо.

На пустыре, возле штабелей... Да этот раз я нес восемь кусков хлеба, два ломтика сала, старую консервную банку, набитую тушеной картошкой. Все это я должен был съесть сам и не съел, сэкономил, когда отворачивалась мать.

Я бежал к пустырю вприпрыжку, придерживая обеими руками оттопыривающую-

юся на животе рубаху. Чья-то тень упала мне под ноги.

- Молодой человек! Молодой человек! Молю! Уделите минутку!..

Ко мне ли обращаются столь почтительно?..

Ко мне.

Поперек дороги стояла женщина в пыльной шляпке, известная всем по прозвищу Отрыжка. Она была не слонихой и не шкилетницей, просто инвалидкой,

изуродованной какой-то странной болезнью. Все ее сухое тело неестественно измято, скрючено, вывернуто - плечики перекошены, спина откинута, маленькая птичья голова в замусоленной суконной шляпке с тусклым перышком где-то далеко позади всего тела. Время от времени эта голова делает отчаянное встряхивание, словно хозяйка собирается лихо воскликнуть: "Эх! И спляшу вам!" Но Отрыжка не плясала, а обычно начинала сильно-сильно подмигивать всей щекой.

Сейчас она подмигивала мне и говорила страстным, слезливым голосом:

- Молодой человек, поглядите на меня! Не стесняйтесь, не стесняйтесь, внимательней!.. Вы когда-нибудь видели обиженное богом существо?.. - Она подмигивала и наступала на меня, я пятился. - Я больна, я беспомощна, но у меня дома сын... Я - мать, я люблю его всей душой, я готова на все, чтоб его накормить... Мы оба забыли вкус хлеба, молодой человек! Маленький кусочек, прошу вас!..

Веселое до жути подмигивание всей щекой, черная рука с грязной тряпочкой, чтоб промокнуть глаза... Откуда она узнала, что у меня под рубахой хлеб? Не сказал же ей слон, который ждет меня на пустыре. Слону выгодно молчать.

- Готова встать перед вами на колени. У вас такое доброе... у вас ангельское лицо!..

Как она узнала о хлебе? Нюхом? Колдовством?.. Я не понимал тогда, что не я один пытался подкормить ссыльных куркулей, что у всех простодушных спасителей было красноречиво воровское, виноватое выражение лица.

Устоять перед страстью Отрыжки, перед ее развеселым подмигиванием, перед скомканной грязной тряпицей я не мог. Я отдал весь хлеб с ломтиками сала, оставив вместе с банкой тушеной картошки только один кусок.

- Это я обещал...

Но Отрыжка пожирала сорочьими глазами консервную банку, трясла пыльной шляпкой с перышком, стонала:

- Мы гибнем! Мы гибнем! Я и мой сын - мы гибнем!..

Я отдал ей и картошку. Она засунула банку под кофту, жадно блеснула глазом на оставшийся в моей руке последний ломоть хлеба, дернула головой - эх, спляшу! - еще раз подмигнула щекой, пошла прочь, накрененная набок, как тонущая лодка.

Я стоял и разглядывал хлеб в руке. Кусок был мал, завожен в кармане, помят, а ведь я сам позвал - приходи на пустырь, я заставил голодного ждать целые сутки, сейчас я ему поднесу такой вот кусочек. Нет, уж лучше не позориться!..

И я с досады - да и с голода тоже, - не сходя с места, съел хлеб. Он неожиданно был очень вкусен и... ядовит. Целый день после него я чувствовал себя отравленным: как я мог - вырвал изо рта у голодного! Как я мог!..

А утром, выглянув в окно, я похолодел. Под окном у нашей калитки торчал знакомый слон. Он стоял, облаченный в свой необъятный кафтан цвета свежеспаханного поля, сложив жабьи мягкие руки на тучном животе, ветерок шевелил грязный мех на его казацкой шапке, - недвижим и башнеподобен.

Я сразу почувствовал себя гадким лисенком, загнанным в нору собакой. Он может простоять до вечера, может так стоять и завтра и послезавтра, спешить ему некуда, а стояние обещает хлеб.

Я дождался, пока мать ушла из дому, забрался в кухню, отвалил от буханки увесистую горбушку, достал из мешка десяток крупных сырых картофелин и выскочил...

У пахотного кафтана были бездонные карманы, в которых, наверное, могли бы исчезнуть все наши семейные запасы хлеба.

- Сынку, нэ вирь подлой бабе. Немае у нэй никого. Ни сына нэма, ни дочки.

Я и без него об этом догадывался - Отрыжка обманывала, но попробуй отказать ей, когда стоит перед тобой изломанная, подмигивает щекой и держит в руке грязную тряпицу, чтоб промокнуть глаза.

- Ой, лыхо, сынку, лыхо. Смэрть и та трэбуе... Ой, лыхо, лыхо. - Сипло вздыхая, он медленно отчалил, с натугой волоча пышные ноги по занозистым доскам поселкового тротуара, обширный, как стог, величественный, как обветшалый ветряк. - Ой, лыхо мни, лыхо...

Я повернулся к дому и вздрогнул: передо мной стоял отец, на гладко выбритой голове играет солнечный зайчик, тучновато-плотный, в парусиновой гимнастерке, перехваченной тонким кавказским ремешком с бляшками, лицо не хмурое и глаза не завешаны бровями - спокойное, усталое лицо.

Шагнул на меня, положил на мое плечо тяжелую руку и надолго загляделся куда-то в сторону, наконец спросил:

- Ты дал ему хлеба?

- Дал.

И он снова вглядывался в даль.

Я люблю своего отца и горжусь им.

О великой революции, о гражданской войне сейчас поют песни и складывают сказки. Это о моем отце поют, о нем складывают сказки!

Он из тех солдат, которые первыми отказались воевать за царя, арестовали своих офицеров.

Он слышал Ленина на Финском вокзале. Он видел его стоящим на броневике, живым - не на памятнике.

Он был в гражданскую комиссаром Четыреста шестнадцатого ревополка.

У него на шее рубец от колчаковского осколка.

Он получил в награду именные серебряные часы. Их потом украли, но я сам держал их в руках, видел надпись на крышке: "За проявленную храбрость в боях с контрреволюцией"...

Я люблю отца и горжусь им. И всегда боюсь его молчания. Сейчас вот помолчит и скажет: "Я всю жизнь воюю с врагами, а ты их подкармливаешь. Не предатель ли ты, Володька?"

Но он тихо спросил:

- Почему этому? Почему не другому?

- Этот подвернулся...

- Подвернется другой - дашь?

- Н-не знаю. Наверное, дам.

- А хватит ли у нас хлеба накормить всех?

Я молчал и смотрел в землю.

- У страны не хватает на всех-то. Чайной ложкой море не вычерпаешь, сынок. - Отец легонько подтолкнул меня в плечо. - Иди играй.

Знакомый слон начал вести со мной молчаливый поединок. Он подходил под наше окно и стоял, стоял, стоял, застывший, неряшливый, лишенный лица. Я старался не глядеть на него, терпел, и... слон выигрывал. Я выскакивал к нему с куском хлеба или холодной картофельной оладьей. Он получал дань и медлительно удалялся.

Однажды, выскочив к нему с хлебом и хвостом трески, выловленным из вчерашней похлебки, я вдруг обнаружил, что под нашим забором на пыльной траве валяется еще один слон, укрытый извоженной, когда-то черной железно-дорожной шинелью. Он лишь приподнял навстречу мне нечесаную, в колтунах и болячках голову, прохрипел:

- Ма-а-льчик! По-ми-раю!..

И я увидел, что это правда, отдал ему кусок вареной трески.

На следующее утро под нашим забором лежали еще три шкилетника. Я попал уже в полную осаду, я теперь не мог уже ничего вынести, чтобы откупиться. Пятерых не подкормишь от своих обедов и завтраков, да и запасов у матери на всех неостанет.

Брат бегал смотреть на гостей, возвращался возбужденно-радостный:

- Еще один шкилетник к Володьке приполз!

Мать ругалась:

- Лежку устроили, словно мы всех богаче. Прикормили паразитов, ироды!

Как всегда, она ругала сразу двоих, хотя брат был не виновен ни сном ни духом. Мать ругалась, но выйти и отогнать голодных куркулей не решалась. Молча проходил мимо голодного лежбища и мой отец. Мне он не сказал в упрек ни единого слова.

Мать приказала:

- Вот кувшин - за квасом в столовку сбегай. И быстро мне!

Делать нечего, я принял из ее рук стеклянный кувшин.

Сквозь калитку на волю я проскочил беспрепятственно, не вялым слонам и не еле ползающим шкилетникам перехватить меня.

Я долго толкался в столовке-чайной, покупал квас. Квас был настоящий, хлебный - никак не витаминный морс, - потому продавался не каждому, кто захочет, а только по спискам. Но торчи не торчи, а возвращаться надо.

Они меня ждали. Все лежачие сейчас торжественно стояли на ногах. Каскады заплат, медь кожи сквозь прорехи, зловещие оскалы заискивающих улыбок, знойные глаза, безглазые физиономии, тянущиеся ко мне руки, тощие, как птичьи лапы, круглые, как мячи, и надтреснутые, шершавые голоса:

- Хлопчик, хлебца...

- По крошечке...

- Помираю, ма-а-альчик. Перед смертью куснуть...

- Хошь, руку свою съем? Хошь? Хошь?..

Я стоял перед ними и прижимал к груди холодный кувшин с мутным квасом.

- Хле-ебца-а...

- Корочку...

- Хошь, руку свою?..

И вдруг со стороны, энергично трясая пером на шляпке, налетела Отрыжка:

- Молодой человек! Молю! На коленях молю!

Она действительно упала передо мной на колени, заламывая не только руки, но и спину и голову, подмигивая куда-то вверх, в синее небо, господу богу.

И это была уже лишка. У меня потемнело в глазах. Из меня рыдающим галлопом вырвался чужой, дикий голос:

- Ухо-ди-те! Уходи-те!! Сволочи! Гады! Кровопийцы!! Уходите!

Отрыжка деловито поднялась, стряхнула мусор с юбки. Остальные, разом потухнув, опустив руки, начали поворачиваться ко мне спинами, расползаться без спешки, вяло.

А я не мог остановиться, кричал рыдающе:

- Уходи-те!!

С инструментом на плечах подошли работяги - бородатый, степенный отец с конопатым, очень серьезным сыном, который был старше меня только на два года. Сын небрежно двинул подбородком в сторону разбредавшихся куркулей:

- Шакалы.

Отец важно кивнул в знак согласия, и они оба с откровенным презрением посмотрели на меня, встрепанного, заплаканного, нежно прижимающего к груди кувшин с квасом. Я для них был не жертва, которой нужно сочувствовать, а один из участников шакальской игры.

Они прошли. Отец нес на прямом плече пилу, и та гнулась под солнцем широким полотнищем, выплескивала беззвучные молнии, шаг - и вспышка, шаг - и вспышка.

Наверное, моя истерика была воспринята доходягами как полное излечение от мальчишеской жалости. Никто уже больше не выстаивал возле нашей калитки.

Я излечился?.. Пожалуй. Теперь бы я не вынес куска хлеба слону, стой

тот перед моим окном хоть до самой зимы.

Мать ахала и охала - ничего не ем, худею, синячищи под глазами... Она трижды на день устраивала мне пытку:

- Опять устался в тарелку? Опять не угодила? Ешь! Ешь! На молоке сварена, масла положила, посмей только отвернуться!

Из муки, хранившейся к праздникам, она пекла мне пироги с капустой и рубленным яйцом. Я очень любил эти пироги. Я их ел. Ел и страдал.

Теперь я всегда просыпался перед рассветом, никогда не пропускал стука телеги, которую гнал конюх Абрам к привокзальному скверику.

Гремела утренняя телега...

Не спи, вставай, кудрявая!

В цехах звеня...

Гремела телега - знамение времени! Телега, спешившая собрать трупы врагов революционного отечества.

Я слушал ее и сознавал: я дурной, неисправимый мальчишка, ничего не могу с собой поделывать - жалею своих врагов!

Как-то вечером мы сидели с отцом дома на крыльчке.

У отца в последнее время было какое-то темное лицо, красные веки, чем-то он напоминал мне начальника станции, гулявшего вдоль вокзального сквера в красной шапке.

Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-под земли выросла собака. У нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и ненормально взлохмаченная на боках, на спине, серыми клоками шерсть. Она минуту-другую пристально глядела на нас своим пустующим взором и исчезла столь же мгновенно, как и появилась.

- Что это у неё шерсть так растет? - спросил я.

Отец помолчал, нехотя пояснил:

- Выпадает... От голода. Хозяин ее сам, наверное, с голодухи плешивеет.

И меня словно обдало банным паром. Я, кажется, нашел самое, самое несчастное существо в поселке. Слонов и шкилетников нет-нет да кто-то и пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь, про себя, нет-нет да и найдется дурачок вроде меня, который сунет им хлебца. А собака... Даже отец сейчас пожалел не собаку, а ее неизвестного хозяина - "с голодухи плешивеет". Сдохнет собака, и не найдется даже Абрама, который бы ее прибрал.

На следующий день я с утра сидел на крыльце с карманами, набитыми кусками хлеба. Сидел и терпеливо ждал - не появится ли та самая...

Она появилась, как и вчера, внезапно, бесшумно, уставилась на меня пустыми, невымытыми глазами. Я пошевелился, чтоб вынуть хлеб, и она шарахнулась... Но краем глаза успела увидеть вынутый хлеб, застыла, уставилась издали на мои руки - пусто, без выражения.

- Иди... Да иди же. Не бойся.

Она смотрела и не шевелилась, готовая в любую секунду исчезнуть. Она не верила ни ласковому голосу, ни заискивающим улыбкам, ни хлебу в руке.

Сколько я ни упрашивал - не подошла, но и не исчезла.

После получасовой борьбы я наконец бросил хлеб. Не сводя с меня пустых, не пускающих в себя глаз, она боком, боком приблизилась к куску. Прыжок - и... ни куска, ни собаки.

На следующее утро - новая встреча, с теми же пустынными переглядками, с той же негибаемой недоверчивостью к ласке в голосе, к доброжелательно протянутому хлебу. Кусок был схвачен только тогда, когда был брошен на землю. Второго куска я ей подарить уже не мог.

То же самое и на третье утро, и на четвертое... Мы не пропускали ни одного дня, чтоб не встретиться, но ближе друг другу не стали. Я так и не смог приучить ее брать хлеб из моих рук. Я ни разу не видел в ее желтых, пустых, неглубоких глазах какого-либо выражения - даже собачьего страха, не говоря уже о собачьей умильности и дружеской расположенности.

Похоже, я и тут столкнулся с жертвой времени. Я знал, что некоторые ссыльные питались собаками, подманивали, убивали, разделявали. Наверное, и моя знакомая попадала к ним в руки. Убить ее они не смогли, зато убили в ней навсегда доверчивость к человеку. А мне, похоже, она особенно не доверяла. Воспитанная голодной улицей, могла ли она вообразить себе такого дурака, который готов дать корм просто так, ничего не требуя взамен... даже благодарности.

Да, даже благодарности. Это своего рода плата, а мне вполне было достаточно того, что я кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам имею право есть и жить.

Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть.

Не скажу, чтоб моей совести так уж нравилась эта подозрительная пища. Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни.

В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя.

Документальная реплика.

В самый разгар страшного голода в феврале 1933 года собирается в Москве Первый всесоюзный съезд колхозников-ударников. И на нем Сталин произносит слова, которые на много лет стали крылатыми: "сделаем колхозы большевистскими", "сделаем колхозников - зажиточными".

Самые крайние из западных специалистов считают - на одной лишь Украине умерло тогда от голода шесть миллионов человек. Осторожный Рой Медведев использует данные более объективные: "...вероятно, от 3 до 4 миллионов..." по всей стране.

Но он же, Медведев, взял из ежегодника 1935 года "Сельское хозяйство СССР" (М. 1936, стр. 222) поразительную статистику. Цитирую: "Если из урожая 1928 года было вывезено за границу менее 1 миллиона центнеров зерна, то в 1929 году было вывезено 13, в 1930 году - 48,3, в 1931 году - 51,8, в 1932-м - 18,1 миллиона центнеров. Даже в самом голодном, 1933 году в Западную Европу было вывезено около 10 миллионов центнеров зерна!"

"Сделаем всех колхозников зажиточными!"

1969-1970

Текст печатается по изданию: Тендряков В. Ф. Люди или нелюди: Повести и рассказы. - М.: Современник, 1990. - Хлеб для собаки. С. 452-470.

ПАРАНЯ

Лето 1937 года.

Наш небольшой железнодорожный поселок осоловел от жары, от пыли, от едкого дыма шлаковых куч, выброшенных паровозами.

На площади перед районной чайной, в просторечии - тошниловкой, с утра до вечера звучно и бодро кричит со столба радио:

Побеждать мы не устали,
Побеждать мы не устанем!
Краю нашему дал Сталин
Мощь в плечах и силу в стане...

Кричит репродуктор. Скучают у изгрызенной коновязи колхозные лошаденки. Двое парней-шоферов мучают ручкой не желающий заводиться грузовик. Поперек крыльца чайной-тошниловки сладко спит облепленный мухами самый развеселый человек в поселке - Симаха Бучило.

В нашем сердце это имя,
На устах у всех наш Сталин...

Кричит репродуктор, а под столбом, посреди площади, обычное увеселение - поселковая ребятня окружила дурочку Параню.

- Параня! Параня! Кто твой жених?

- Уд-ди! Уд-ди!.. - гудит Параня и судорожно вертится в хохочущем колесе, подставляя то зад, то бок под щипки и тычки.

Муравьиная толчея, легкая давка, ликующий визг, привлекающий даже взрослых. Несколько почтенных отцов семейств заинтересованно топчутся возле дурочки, похохатывают, подзуживают:

- Ты, Парасковья, не таись, ты, девка, откройся нам...

- Кто твой жених, Параня?!

Парни из деревень, кого не назовешь ни большими, ни малыми, увальни в смазанных сапогах, с младенчески наивным восторгом на опаленных физиономиях, хозяева лошадей, дремавших у коновязи, тычут в Параню кнутовищами.

- Парань! Эй!
- Уд-ди!
- Чтой тебя уж и тронуть нельзя, цяця?
- Дык засватана.
- Га! Дай-кось я...
- Уд-ди! Уд-ди!

Мимо - в белых парусиновых брючках и рубашке апаш - идет Андрей Андреевич Молодцов, холостой инкассатор, человек приятной наружности, культурного поведения, прекрасно исполнявший на мандолине "Светит месяц". По виду можно бы уловить - он презирает и осуждает. Можно бы, но трудно. И Андрей Андреевич Молодцов скрывается за углом, никем не понятый.

А баба из деревни с корзиной, увязанной платком, из-под которого высывается голова петуха с бледным, свалившимся набок гребнем, не вытерпела, проста душа, и осуждения своего не скрыла:

- Ох бессовестники! Ох злыдни! Чем вам, ироды, помешала убогая?
- Тетка, спроси сама, кто жених-то... Никак не добьемся.
- Добром скажет - отстанем.
- Любо же знать...
- Гы-гы-гы!..
- Тьфу! Ошалелые! Креста на вас нет!
- Параня, кто твой?..

Параня ревет сильным сиплым мужским басом и по-детски размазывает черным тощеньким кулаком слезы и слюни.

- Ужо... Ужо... Зорьке Косому скажу, он вас ножиком зарежет...

А Зорька Косой сидит рядом, в тошниловке, у открытого окна любителюется на веселье - лицо узкое, бледное, черная челочка ровненько подрублена по самые брови, скрывает лоб, глаза трезвые, скучноватые.

Говорят, что он убил двоих, но сумел открутиться, отсидел только год в тюрьме. Зорька может выскочить на крыльцо, прикрикнуть тенорком: "Эй, вы-и! Шабаш!" И все разойдутся. С Зорькой не шути, он благороден, но не часто... Сегодня сидит, скучновато посматривает.

Параня сипло ревет, трет костистым кулачком лицо, дрожит под мешковинной своим грязным, тощим, перекошенным телом.

- Уд-ди! Уд-ди!

И муравьиная толчея вокруг нее, и ликующие вопли, и звенящий детский смех, и короткое басовитое похохатывание взрослых...

И величание из репродуктора новым голосом, уже не просто бодрым, а проникновенным:

О Сталине мудром я песню слагаю,
А песня - от сердца, а песня такая...

Параня появилась в поселке года три тому назад и первое время на вопрос "кто твой жених?" простодушно отвечала:

- А сын божий Иисус Христос, вот кто.

С дико запутанной, густой, жесткой, как конская грива, шевелюрой, со

щетиныстыми, угрожающе угольными бровями, босоногая зимой и летом, в платье, сметанном из клейменного мешка, она сразу же вошла в пейзаж поселка, а имя ее - в незатейливый местный фольклор: "Хитрожоп, как Параня... Форсист, как Параня..."

Ей постоянно приходилось искать заступников. Сначала она провозглашала лишь имена добросердных поселковых баб:

- Ужо вот Анне Митриевне нажалуюсь... Бабушке Губиной ужо скажу...

Но добрые бабушки не в силах были спасти Параню от ребятни и изнывавших от безделья досужих взрослых, приходилось искать иных защитников:

- Вот Ване Душному скажу...

Ваня Душной, он же Савушкин,- милиционер, надзирающий за порядком, человек серьезный, положительный, с кем даже Зорька Косой считается. Ваня Душной ради порядка раз или два пробовал защищать Параню, но над ним стали смеяться:

- Ты, Иван, того... подходишь... Тебя, слышь, Параня-то женихом величают. Прежде у нее был Иисус Христос, нынче ты на замену. Ты ведь мужчина в соку, а потом - форма, светлые пуговицы. Юродивые светленькое-то любят...

И Ваня Душной стал исчезать с улицы, как только появлялась Параня.

В поселке у всех на языке было имя Дыбакова - наистарший среди районного начальства, даже пешком по улицам не ходил, ездил на единственной в округе легковой машине - тонкоколесом "газике" с брезентовым верхом.

- Дыбакову нажалуюсь - в тюрьму вас засадит.

Но посадили самого Дыбакова, на поверку оказалось - в красных перьях черная птица. И поселковая дурочка Параня выбросила его из числа своих почетных защитников.

- Зорьке Косому... Он вас ножиком...

Зорька Косой туманно смотрит из оконца чайной, не вмешивается - не в том настроении.

- Параня, посватайся за меня...

- Га-га-га!

- Гы-гы-гы!..

- Уморила Параня...

- Уд-ди! Уд-ди!..

Со Сталиным вольно живется на свете:
Как ясное солнце он греет и светит,
Пути пролагает к великой победе,
Чтоб радостней было и взрослым и детям...

- Уд-ди!.. Я вот Сталину... Вот ужо ему... Ужо он вас... врагов народа...

Какой-то мальчонка резанно взвизгнул: "Сталин - жених Парани!" - и получил по шее от протрезвевшего взрослого. Гагакнул один из парней с кнутом, но сразу же подавился нескромным смешком - сам допер, без доброжелателя.

Все видят его соколиные очи
И в светлые дни и в ненастные ночи.

Он вытер нам слезы, он счастье упрочил...

кричало с высокого столба радио. Параня дрожала в своем клейменом платье, затравленно озиралась.

- Вот ужо...

Только что была плясавшая, паясничавшая карусель, только что стеной потные, оскаленные мальчишечьи лица, руки, руки со всех сторон, визг и стоны, голоса, голоса, захлебывающиеся, ласковые, вкрадчивые...

И тишина. Лишь тяжелое прерывистое дыхание да радио в небесах:

Он пишет законы векам и народам,
Чтоб мир осветился великим восходом...

Тишина, оглушающая больше, чем крик, визг, бесноватость. Глаза Парани дико косили, один в толпу, другой - куда-то вдоль улицы.

- Вот ужо... - Она пятилась.

Шоферы, крутившие заводную ручку грузовика, бросили возню, распрямились, недоуменно вглядываясь: что же случилось? И Зоренька Косой оперся локотком на подоконник, высунулся из окна.

- Вот ужо... Сталину... Родному и любимому...

Тесный круг разорвался, почтительно расступились перед дурочкой, и та бочком, бочком вышла из плена, остановилась, повела раскосмаченной гривой в одну сторону, в другую, смятенно кося горящими глазами... И вдруг сорвалась мелкой рысью, тряся мешковинным задом, стуча толстыми черными пятками... Споткнулась, упала, мешковина задралась, открыв тощие голубые ляжки. Параня съежилась, ожидая веселой бури, но буря не разразилась, никто не засмеялся...

Тогда она поднялась и, прихрамывая, торопливо ушла.

О Сталине мудром я песню слагаю,
А песня - от сердца, а песня такая...

Наверное, у нее нашлись наставники, так как на следующий день она держалась уже совсем иначе: на копотно-смуглом лице фатоватая озабоченность, глаза блестят истошно и сухо, косят сильнее обычного, походочка мелкая, острым плечом вперед, с каким-то непривычным для нее напорцем.

Увидев прохожего, Параня останавливалась, принималась сучить ногами - черной заскоруждой пяткой скребла расчесанную до болячек голень, глаза на минуту останавливались - провальными-темными, с диким разбродом, один направлен в душу, другой далеко в сторону. При первом же звуке сиплого голоса глаза срывались, начинали суетливую беготню.

- Он все видит!.. Он все знает!.. Ужо вас, ужо!.. На мне венец! Жених положил... Родной и любимый... На мне его благость... Ужо вас! Ужо!..

Слова, то сиплые, то гортанные, то невнятно жеванные, сыпались, как орехи из рогожи, пузырилась пена в углах синих губ.

- Забижали... Ужо вас... Он все видит... Родной и любимый, на мне венец...

Все сбегались к ней, сбивались в кучу, слушали словно в летаргии, не шевелясь, испытывая коробящую неловкость, боясь и глядеть в косящие глаза дурочки и отводить взгляд.

- Великий вождь милостивый!.. Слышу! Слышу тебя!.. Иду! Иду!.. Раба твоя возлюбленная...

Любой и каждый много слышал о Сталине, но не такое и не из таких уст. Мороз продирает по коже, когда высочайший из людей, вождь всех народов, гений человечества вдруг становится рядом с косоглазой дурочкой. Мокрый от слюней подбородок, закипевшая пена в углах темных губ, пыльные, никогда не чесанные гривастые волосы, и блуждающие каждый по себе глаза, и перекошенные плечи, и черные, расчесанные до болячек ноги. Сталин - и Параня! Смешно?.. Нет, страшно.

Со всех сторон спешили, чтобы упиться этим преступным страхом. Слушали и молчали. Боже упаси обронить даже не слово, а вздох, дрогнуть хоть бровью. Боже упаси выделиться из остальных. Молчи и слушай, ничего не выражай лицом, кроме каменности.

- Вижу! Вижу! Свет ангельский!.. Свет! Свет! Светоч!.. Вождь и учитель... Венец принимаю!.. Ужо вам! Ужо! - Параня начинала дергаться, пена гуще вскипела в углах вывернутых губ.

Ваня Душной, придерживая кобуру нагана, припечатывая на каблук, подошел, озабоченно сопя, раздвинул плечом сборище, встал перед дурочкой. Та грозила в воздух немывтым кулачком:

- Ужо вам!

- Ты!.. Тоже за агитацию?.. Сматывай, недоделанная, чтоб руки не пачкать! - Развернулся кругом, лицом к народу. - А вы!.. По какому случаю стянулись на митинг? Топай по домам, покуда я добрый!

Но из толпы подали голос:

- Высоко берешь, Ванька. Не сорвись. Она тут товарища Сталина хвалит, ты ей рот затыкать...

И Ваня Душной осекся, переступил с сапога на сапог.

- Но кто ее уполномочил?.. Что это будет, коль каждая шалава на вождя набросится, пусть даже с хвальбой?..

Посовестил, однако крутых мер не принял, рванул за инструкцией в отделение к товарищу Кнышеву.

Начальник районного отделения милиции Кнышев человек пожилой, многосемейный, страдавший дамской болезнью мигренью, любил прибедняться: "Мы люди

маленькие, высокий замах не для нас. Пьяницу скрутить или жулика сцапать - вот наш скромный вклад в дело социализма".

Люди с высоким районным замахом вроде Дыбакова, наверное, сейчас уже рубят лес где-то в холодной Сибири, а Кнышев как сидел, так и сидит на своем месте, рассчитывает сидеть и дальше.

Он схватился за голову, когда узнал о том, что поселковая дурочка Параня выдает себя за невесту товарища Сталина. Сразу же позвонил в одно место, в другое, во время разговоров сильно потел, сто раз говорил "виноват", наконец положил трубку и решительно приказал Ване Душному:

- Бери!

И вот через весь поселок Ваня Душной, время от времени прикладываясь коленом к тощему мешковинному заду, провел хнычущую невесту великого
ВОЖДЯ

всех народов в предварилку.

Параня не первая. Многих за вождя взяли в поселке и в прошлом году и в нынешнем, возмущаться - да боже упаси! - в голову не приходило. Наоборот, Симаха Бучило, после того как забрали Дыбакова, обличал его без просыпу трое суток:

- Он в очках ходил! И в галстук! Простой народ нонче должен властвовать! Тот что без галстуков!.. Я - за!.. Я за расстрел голосую!..

И голосовал перед прохожими сразу обеими руками.

Симаха Бучило обличал бы и дальше, да Ваня Душной перебил - утащил в милицию на всякий случай, чтоб не докатился до перегибчиков.

Но странно - поселковые массы восприняли вдруг арест Парани неодобрительно. На улицах начались гадания не слишком потаенные, даже не шепотом, даже порой на басах.

- Она же товарища Сталина хвалила, не Троцкого.

- Зазорно вроде товарищу Сталину-то с ней жениться...

- Что тут зазорного? Прежде всегда ушибленных девок считали - Христовы, мол, невестушки.

- Сравнила, кума, шильце с рыльцем. Одно дело там Христос, другое - сам товарищ Сталин...

- А чего бы не сравнить? Христос богом был, куда уж выше, тыщу лет на него молились.

- Нет, как ни кинь, по-старому или по-новому, а промашечка вышла - хвалила, а ее цап!

- Промашечка? Ой, братцы, не тем пахнет! Не-ет! За любовь к отцу и учителю - в холодную? Не-ет, братцы, тут не промашечка, умысел ищи!

Находились и такие, кто даже Параню брал под сомнение: будь бдителен, враг повсюду, отцу родному не верь, почему нужно оказывать доверие какой-то дурочке?

- А что, ежели она того... замаскированный агент из какой-нибудь Англии?

- Вроде ты не знаешь, из какой такой она державы иностранной...

- Знать-то знаю, но все-таки... Могли и завербовать: притворяйся убогенькой, сообщай тайные сведения...

- Тайные-то сведения не на улицах валяются, они, простота, по учрежденным лежат. Вот если б она проникла куда, хоть в контору "Утильсырье", тогда подозревай, слова не скажу.

- Но замечено за Параней - чиста.

И общий возмущенный клич по поселку:

- Так за что ее, братцы, губят? Живая душа как-никак!

Никто другой из арестованных - тот же Дыбаков хотя бы - такой защиты не вызывал: "Живая душа гибнет!"

Шумел поселок, и ходил сторонкой в парусиновых брюках инкассатор Молодцов Андрей Андреевич, человек приятной наружности, культурного поведения

- себе на уме...

- Писать надо, писать самому...

- До самого, поди, не долетит - высоконоько. Лучше кому следует нужное словечко подпустить...

Нужное словечко было подпущено, и без промашки, кому следует.

Через несколько дней начальнику милиции Кнышеву позвонили:

- Ты, такой-рассякой, свихнулся?!

- Виноват...

- Думаешь, мы все с тобой за компанию отправимся петь в один голос "Солнце всходит и заходит"?

- Виноват, не пойму.

- Нет уж, пой ты, пташечка, мы послушаем...

- Виноват. Узнать позвольте, в чем дело?

- На чью агентуру работаешь, сволочь?

- Виноват!

- Не отвертисься. Сигнальчик поступил, что ты, провокатор, за сердечное выражение любви и преданности к товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу людей в холодную сажаешь!..

Кнышев имел слабую голову, подверженную деликатной болезни, но достаточно крепкое сердце - удар снес и понял, что нужно срочно изобличить и обезвредить истинного виновника диверсии, иначе обезвредят его самого.

Он вызвал к себе Ваню Душного. Тот встал у дверей - приземистый, в выгоревшей до невнятного воробьиного цвета гимнастерке, просторный в плечах, ноги в неуклюжей косолапой стоечке, лицо губастое, простодушно-суровое и готовность на нем: кого, товарищ начальник?..

- А разреши-ка, Савушкин, проверить мне твое личное оружие... Как отдаешь, лапоть?! Как отдаешь?! Начальству оружие вместе с поясом и кобурой подают. Вежливенько!.. Вот так-то!.. Посмотрим, посмотрим... Ты им гвозди вбивал, что ли?

- Не гвозди - замок. У самогонщицы Глашки Плетухиной... Нет, говорит, ключей, и все тут. Пришлось сбить замок.

- А патроны куда использовал?

- Сроду их не бывало. Сами знаете - для красоты носим эти штуки.

- Не в порядке оружие, не в порядке. Спрячем его... - И Кнышев сунул пояс с кобурой в свой письменный стол, а затем - как подменили вдруг человека - с замогильной угрозой: - На чью агентуру работаешь, сволочь?

- Чего?

- На чистых советских людей поклепы возводишь?

- Чего?

- Они сердечно выражают любовь и преданность нашему вождю, а ты, провокатор, за шиворот их да в холодную!

- Да чего?.. Вы ведь сами...

- Сами?! Рассчитываешь, что я с тобой за компанию "Солнце всходит и заходит" петь отправлюсь? Нет, соловушка, пой один!..

Кнышев с рук на руки передал арестованного Ваню Душного дежурному Силину, а сам сел писать сопроводение: "Обманным путем вынудил дать соглаше-

ние на арест... терроризировал простых советских людей... прямая диверсия против Генсека..."

Параню выпустили.

Ее успели накоротко остричь. С грязно-серым, острым, как колун, черепом, угольно-пыльные косматые брови выглядят теперь еще более угрожающими,

в знакомой клейменной мешковине - вовсе незнакомая Параня, даже походка изменилась, не просто дерганно вихляющаяся, а с судорожным прискоком, словно ежеминутно кто-то кричал у нее над ухом. Но прежнее косоглазие и прежняя блуждающая оглядка по сторонам.

Ее успели не только остричь, но, наверное, и допросить. Новый мотив зазвучал в ее несвязных речах... И новые слова:

- Свирженье-покушенье!.. Свирженье-покушенье!.. Ножики точут! Ножи-ножики! На родного и любимого... Вжик! Вжик! Чую! Чую! Свирженье-покушенье!..

Вжик!.. Венец вижу! Кровь на венце!.. Господи милостивец! Спаси и помилуй!.. Отца нашего и учителя... Свирженье-покушенье!.. О-оспо-ди!..

И жители поселка снова сбегались к Паране со всех сторон, слушали и обмирали от ужаса.

- Острое! Острое!.. Спаси и помилуй отца и учителя!.. Венец вижу! Кровь на венце!..

Толпа, теснясь, сопя, потея, окружала Параню, внимала ей в гробовом молчании.

Но ни начальник милиции Кнышев, ни те из ответственных товарищей, за которыми скромный Кнышев признавал право большого замаха, не успели прийти

в беспокойство: сборища же, черт возьми! Незапланированные демонстрации! А потом - речи... Голов не сносить. Никто даже не успел подумать о своих головах, как...

Напротив чайной (а как ни кружи поселком, рано или поздно вернешься сюда, районная тошниловка - центр, местный пуп!) под столбом, с которого репродуктор бодро развивал тему "жить стало лучше, жить стало веселей". Параня утомленно бормотала о "венце", "ножах-ножиках", "свирженье-покушенье". Но вдруг она замолчала, одичавшие глаза разбежались в разные стороны, мокрогубый рот перекосялся. Параня вскинула грязный, тонкий, как куриная кость, палец, нацелила его в толпу и завизжала:

- Ви-и-ижу! Ви-и-ижу-у! Во-о-о! Во-о-о!.. Он! Он! На родного и любимого!.. О-он!.. Свирженье-покушенье!.. О-он! Наскрозь вижу!..

Толпа качнулась, и под тощим пальцем оказался Гена Пестеров, инструктор Осоавиахима, он же преподаватель физкультуры, он же капитан местной футбольной команды, он же баянист Дома культуры. Гена Пестеров, или Генка Девочка, так как имел привычку обращаться ко всем, будь то старухи или старики, парни-одногодки или совсем юная поросль школьников, "девочки": "Девочки, не лезьте без очереди", "Девочки, а не погонять ли нам мяч..." Высокий, крепкошей, с чубом - льняная волна, выпуклую грудь обтягивает май-

ка-футболка, увешенная значками ГТО, ПВХО, "Ворошиловский стрелок", сейчас он стоял под Параниным пальцем и бледнел.

- О-он!.. На родного и любимого! О-он!.. Ножи-ножики!.. Ви-ижу-у!..

- Девочки, что же это? - Гена криво улыбнулся и стал оглядываться, а все разномастные "девочки" пятились от него. С приклеенной улыбкой попятился и Гена.

- О-он!.. - стонуше визжала Параня. - О-о-он! Держи-ите!.. Свирженье-покушенье!.. На родного и любимого!..

Держать Гену Девочку никто не стал, все разбежались от Парани, оставили ее одну под кричащим столбом.

Но поселок сразу же забурлил от догадок.

- А уж не учуяла ли чего Параня?

- Да полно вам, в жизнь не поверю. Чтоб Генка Девочка да того... Чтоб это он на самого... Да в жизнь не поверю!

- Ой, что-то ты спасаешь его. Ой, что-то неспроста...

- Да я же не о том... Мне Генка - тьфу! Не сват, не брат - седьмая вода на киселе.

- А спасаешь. Вроде и о бдительности никогда не слыхал. Вроде и задачи партии - твоя хата с краю...

- Не партийный я. Могу и ошибаться в чем-то...

- Ишь сиротинушка казанская. Я вот тоже беспартийный, но коммунист. Бдительность чту!

Кто-то петухом наскაკивал. Кто-то распускал перья, с кого-то сходил холодный пот, и похаживал инкассатор Молодцов мимо разговоров, мимо людей. Наверное, и не он один, попробуй разгляди таких, когда молчат, в глаза не бросаются... не они стране, не страна им. Антиобщественны.

Шумел поселок, судили Генку Девочку, гадали про Параню - треплется ли зря от убогости или же просто-напросто проницательна? Но на глаза Паране уже не лезли - кто знает, что в тебе разглядит убогая? Судили о ней да поглядывали издалека. С почтением.

А она шаталась по улицам - маленькая, колуном голова, грозные бровищи, просторное платье из мешка, походочка с судорожным прискоком. Какое-то время за ней на почтительном расстоянии держались ребятишки. Не дразнили, нет, просто глазели, но матери и бабки криком, угрозами отзывали их:

- Васька! Пашка! Домой, пащенки! Вот я вицей здоровой накормлю...

Дольше других торчали два брата Бочковы да рыжий Санька, сын пьяницы Симахи Бучило, - этих хоть с кашей съешь, родители не почешутся.

Как ни сторонился поселковый народ Парани, но к полудню она нашла-таки кого уличить.

Возле станции стоял ларек, в котором толстая Надька Жданова торговала морсом. Морс этот назывался витаминным, варился артелью инвалидов из еловой и сосновой хвои, но - секрет фирмы! - был бледно-розового цвета. Пить его просто так никто не осмеливался - им запивали. Надька тут же продавала в розлив водку, теплую на жару и запашистую не хуже витаминно-хвойного морса. Клин вышибался клином, на стакан водки - стакан морсу, по крайней мере дешева закусочка - всего две копейки. И дела в ларьке шли хорошо, Надька перевыполняла план, считалась лучшей стахановкой среди торговых точек посел-

ка, была поперек себя толще.

Вот к ней-то и притопала Параня.

- Паранюшка, хочешь морсику? - ласково спросила Надька и щедро нацедила в пивную кружку.

Параня дрожащей рукой поднесла ко рту мутно-розовую влагу... и кружка затряслась, витаминный морс расплескался на землю. Пуская пузыри, дергая острой головой, Параня закричала:

- На-аскрозь ви-ижу!.. Я-ад крысиный!.. Свирженье!.. Нареченного моего!.. Отца нашего любимого... Свирженье!..

Надька не Генка Девочка, так просто ее не смутишь, за словом в карман не полезет.

- У-у, недоделанная! - заголосила она. - Невестушка толстопятая! Яд!.. Тоже мне, откудова таких слов набралась? Вот я кружкой тебе по каторжной башке! Яд! Это лечебный-то морс! Его весь поселок пьет да хвалит!..

И пошла, и пошла, и начисто забила Параню. Та в страхе отступила, но недалеко, стояла в стороне, тыкала тощим пальцем, бормотала:

- Ви-ижу! Она... Свирженье-покушенье... Нажалуюсь...

И опять суды да пересуды.

- Ишь ты кого Параня унюхала.

- Давно бы пора толстомясую!

- Яд... А что, очень даже может... Я сам давно замечал: морс-то у нее розовый, а меня почему-то с него зеленым рвет.

Но наутро веселье примерзло. Утром по всему поселку разнеслась весть - Генка Девочка и толстая Надька арестованы. Без промашки те, на кого указала перстом Параня. Значит, неспроста она кричит, значит, вправду насквозь видит - вот тебе и убогая, вот тебе и дурочка, посомневайся-ка в ней теперь, когда солидные органы верят и свою веру делом доказывают.

У каждого появился холодок под сердцем - вроде сам ты свят и чист, но один бог без греха.

Параня шаталась по улицам - черные босые ноги пропахивают пыль, сплюснутое клином темечко жарит солнце, косые глаза гуляют под бровями...

Параня шаталась по улицам, и встречные издали поворачивали обратно, простоволосые матери выскакивали из домов, хватали детишек, тащили с дороги, окна захлопывались, ларьки срочно закрывались: Параня идет!

Но магазины-то не закроешь перед Параней.

Она, бормоча, поднялась в лавку райпотребсоюза. Очередь за перловой крупой сразу же растаяла, покупатели один за другим, прижимаясь к стенке, повыскакивали на крыльцо. Отбежав, остановились кучкой, принялись жадно вслушиваться: что-то там сейчас?..

Обе продавщицы остолбенели при виде дурочки. Та, что постарше, бросилась к ящикам, стала хватать горстями пряники и конфеты:

- Паранюшка, на... Паранюшка, возьми гостинчик.

И Паранюшка взяла, стала грызть черствый пряник, мирно бормоча под нос:

- Венец... Благодать его... Нареченный... Родной и любимый... Светоч...

- Истинно, Паранюшка, истинно! Ты, милая, лучше конфетку пососи -

сладкая! Для тебя нам ничего не жалко. Любим мы тебя...

Наконец, подергиваясь под мешковиной, Параня уже направилась к выходу, но тут случайно увидела в руках второй продавщицы, обмершей от страха молоденькой Тоси Филимоновой, огромный нож-хлеборез. Параня взвопила и заби-лась:

- Но-ож! Нож!.. Во-о! Нож!! Ой, свирженье!! Ой, покушенье!! Нож! На родного!.. Спаси-и!..

Ее крик вырвался на улицу, скупившиеся покупатели, ждавшие этого крика, двинулись было ближе к крыльцу, но тут же шарахнулись в разные стороны - на крыльцо выскочила беснующаяся Параня.

Через каких-нибудь полчаса весь поселок уже знал, что указана Филимонова Тося.

Неужели и тут Параня не ошиблась?

А вот завтра узнаем - ошиблась ли, нет ли...

Утром Тося Филимонова была арестована.

Антип Федорович Рыгун, десять лет проработавший продавцом магазина-дежурки, построивший в центре поселка дом на кирпичном фундаменте, да так чисто, что не растратил ни единой государственной копейки, первым вывесил над замком объявление: "Закрывается на переучет!" А уж за ним решили переучитываться и другие магазины...

"Параня идет! Параня идет!" - по улицам шепот, как ветер.

Параня идет! Пустеют улицы.

Известный всему поселку золотарь Никита исполнял свое дело, вез в бочке груз, заполняя воздух производственным ароматом. Впереди показалась Параня, одна на всей улице - походочка бочком, с прискоком, череп - словно колпак, подбитый бровями... Никита попробовал завернуть лошадь, но та от дряхлости была нерасторопна, несла золотаря прямо на Параню. И тогда Никита скатился с бочки, по-куличьи приседая на бегу, рванул по боковой улочке, бросив лошадь, бросив груз... Лошадь с полным грузом подошла под окна чайной-тошниловки и встала, вызвав ложные слухи: "А случаем, Никиту того... не обезвредили?.."

В поселковом скверике проводился пионерский сбор. Старшая вожатая перед строем детишек читала доклад "Лучший друг советских детей".

В скверике появилась Параня и со старшей пионервожатой сделались судороги, девочки в строю заплакали, все стали разбежаться...

Вечером в Доме культуры сорвался показ кинокартины "Мы из Кронштадта". Параня села отдыхать на клубное крылечко, в кино никто не пошел. Готовы были пойти только братья Бочковы да Санька рыжий, сын Симохи Бучило, но их не пустили: "Даешь билеты!"

Кто она? Чем берет? Почему персту Парани подчиняются даже те, кого до смерти боится сам начальник милиции товарищ Кнышев?

Одни шептали:

- Сам-то, когда в ссылку ехал в Туруханский край, в деревне Бродах задержался, жандармы, видите ли, недоглядели... Вот когда только всплыло. Перед Параней держи под козырек, исполняй что скажет.

Другие возражали:

- Чтоб чрез нас да в Туруханский край - это какой надо крюк делать.

Не-ет, просто в Паране дар большой раскрыт, потому органы ее в штат взяли, крупно платят. Мы еще, братцы, увидим Параню в гимнастерочке да ремнях, с петличками, где кубари комсоставские... Параня - тайна сия велика есть, непонятное чудотворство!..

Эту тайну знал начальник милиции Кнышев.

Вовсе не Параня была главным виновником арестов, а... Ваня Душной, сидящий ныне под крепким замком. На него, Ваню Душного (по паспорту - Савушкин Иван Васильевич), завели дело, его обличали как агента империализма, пробравшегося в ряды советской милиции. А какой агент действует в одиночку? Должны быть сообщники и у Вани Душного. Кто они?..

Вот тут-то легко встать в тупик. Ваню Душного знали все в поселке, стар и мал. Всех забрать просто нельзя. За перегибчики тоже наказывают. Но кого-то взять нужно. И наиболее подозрительных. Кто подозрителен? Не знаешь - прислушайся к массам.

Параня указывала?.. Нет! Поселковая дурочка для бдительных органов не авторитет. Но вот если массы начинают склонять имя того или иного жителя поселка, то на голос масс не реагировать просто преступно. Поэтому чутко прислушивались и... вылавливали. Правда, сами-то массы прислушивались к Паране, и, конечно, это было известно органам, но все, что пропущено через народ, то свято! Народ не ошибается! Кто смеет думать иначе?..

Кнышев знал и хранил, не открывал даже своей жене. Тайна сия велика есть - государственная тайна! Будь бдителен - враг повсюду! Болтун - находка для шпиона!

Параня идет!

Магазины закрыты на переучет или по болезни продавцов. Поторговывать снова начал лишь Антип Рыгун, но с черного хода.

Параня идет!

Однако жители поселка так ловко научились избегать с нею встреч, что аресты прекратились.

Параня идет - прячься!

И все-таки нашелся отчаянный, который не только не стал прятаться от Парани, а пошел ей навстречу.

Симаха Бучило почти каждодневно переживал моменты неудержимого энтузиазма - по поводу и без повода. Энтузиазм этот требовал большого расхода сил, а значит, и длительного отдыха. Места же для отдыха Симаха выбирал крайне неожиданные - поперек крыльца весьма посещаемой тошниловки, посреди

дороги, богатырски раскинувшись в пыли, заставляя объезжать стороной конный и механизированный транспорт, на перроне вокзала, подгадывая ко времени прихода пассажирского поезда. Едва отдохнув, он сразу же начинал готовить себя к новому энтузиастскому взрыву.

Параня идет!..

Все попрятались, остался посреди улицы энтузиаст Симаха, которого по-

кидывало из стороны в сторону. Сперва он безуспешно попытался ловить убежавших.

- Стой! Стой! Куд-ды?!

И тут увидел Параню.

Она шла посередине дороги, как Христос, возвращающийся из пустыни после сорокадневного поста, - спеченное от черноты личико, голова-дынька подставлена под палящее солнце, мешковинное платье-хламидка едва прикрывает усохшее тело.

- Паранюшка! - изумился Симаха Бучило и распахнул объятия. - Паранюшка! Родная душа! - И с раскрытыми объятиями двинулся на нее, не по прямой, а со сложными загибами то на одну сторону, то на другую, но все-таки упрямо приближаясь к цели.

Параня, от которой все в ужасе бежали, Параня, под чьим пальцем исчезали люди, эта Параня попятилась от бесстрашного Симахи.

- Уд-ди! Нажалуюсь!

Но не тут-то было, Симаха Бучило обхватил ее и облобызал в мокрые губы.

- Паранюшка! Люблю! Паранюшка! Уважаю! Преданна! Верна! До самого что ни на есть корня! Гению! Вождю! Светочу!.. Ур-ра-а!..

Он крепко взял за руку Параню, повернулся к отчужденно замкнутым бревенчатым домишкам и закричал:

- Да здравствует Параня, верный и преданный соратник!..

Дома слепо взирали наглухо захлопнутыми окнами.

- Да здравствует великий и мудрый товарищ Сталин!

Симаха потащил Параню по молчавшей, опустевшей улице, время от времени подымая ей руку, как судья на ринге победившему боксеру.

- Да здравствует Параня!

Выдвинутая нижняя челюсть, обросшая медной щетиной, - и плаксивое лицо Парани.

- Да здравствует великий Сталин!

Сжатые руки возносятся над головами.

На пути им повстречался случайно подвернувшийся инкассатор Молодцов, как всегда, в отутюженных парусиновых брючках и рубашке апаш. Он остолбенел, он побледнел, он съежился - один на всей улице, заметят, привяжутся, припутают, невольный свидетель, тут-то и возьмут на заметку, тут-то и заставят говорить. Однако Симаха Бучило и Параня прошли мимо, словно и не было этого Молодцова. Привыкли, что незаметен, неразличим, и есть вроде и нет его - пустое место, человек-невидимка. Прошли мимо...

- Да здравствует Параня!.. Да здравствует великий и мудрый!..

На площади у тошниловки их встретил сумрачный Силин, пожилой, толстый милиционер, заменивший обезвреженного Ваню Душного.

- Да здравствует Параня!.. Да здравствует...

Силин схватил Симаху за шиворот, деловито тряхнул:

- Пойдем!..

- Да здравствует великий Сталин!..

- Ид-ди, рвотное! - Силин оторвал Симаху от Парани.

- Да здравствует Параня! Верный и преданный...

Бенц по шее!

- Да здравствует великий Сталин!

Силин поднял кулак, но подумал и не ударил.

- Да здравствует Параня!

Удар!

- Да здравствует Сталин!

Пропуск удара.

- Да здравствует Параня!

Снова удар.

И так, под перемежающиеся удары и патриотические лозунги, ушел из жизни Симаха Бучило, развеселый человек.

Он не раз, сопровождаемый аккомпанементом по шее, уходил в милицию, но всегда быстренько возвращался. Теперь не вернулся, должно быть, попал в число сообщников Вани Душного. Что в общем-то верно - Симаха Бучило и Ваня Душной общались часто и энергично.

Бучило был последней жертвой Парани.

Кончилось все это неожиданно и печально.

Опять все на той же площади перед тошниловкой, под столбом, увенчанным неумолкающим громкоговорителем, Параня наткнулась на Зорьку Косого.

Все боялись Зорьки в поселке, но даже он, Зорька, сворачивал за угол, когда видел Параню. И вот случилось...

Параня, должно быть, вспомнила, что когда-то страдала им: "Ножиком вас зарежет..." Вспомнила про нож и подняла на Зорьку Косого пляшущий грязный палец:

- Во-о!.. Во-о!.. Виж-жу! Виж-ж...

И больше ничего не сказала. Зорька прыгнул, как петух на кошку.

- Заткнись, курва!

Коротко стукнул свинчаткой по острому стриженому темени.

Параня не вскрикнула, она только закружилась, развевая вокруг тощих расчесанных ног клейменный подол. И упала плашмя, ударилась плоским затылком

об утопанную землю, из-под изумленных бровей глаза уставились вверх на столб, на репродуктор.

А бодрствующий репродуктор на этот раз настойчиво славил Человека, не избранного, не гения из гениев, не великого среди малых, а просто Человека:

"Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них - лучи бесстрашной, мощной Мысли, той Мысли, что постигла чудесную гармонию вселенной,

той величавой силы, которая в моменты утомленья творит богов, в эпохи бодрости их низвергает..."

Словно из-под земли, из-за углов, из калиточек стали выползать люди.

Помятенские, заворуженно притихшие, испуганные и сгорающие от любопытства,

они окружили Параню.

Та лежала, раскинув тонкие руки, бестелесно плоская, хрупкая - уже готовые мощи с невинным лицом девочки и старухи. Бросались в глаза огромные ступни ног, разбитые вширь, с коряво торчавшими изувеченными пальцами, с

чугунно твердыми подошвами. Ноги, не знавшие обуви ни зимой, ни летом. Натруженные ноги исполина, носившие по грешной земле истощенное тельце нищен-

ки. И щетинистые брови, изумленно вскинутые, и мутнеющий взгляд, нацеленный на репродуктор в синем небе.

А репродуктор славил с высоты неба:

"Вооруженный только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно-спокойна, точно меч, идет свободный, гордый Человек..."

Зорька Косой пришел в себя и рванул на груди рубаху:

- Граждани-и! За чи-то она меня? Чи-то ей сделал Зорька Косой? Граждани-и! Будьте свидетелями-и!..

Граждане молчали и глядели не на Косого, а на чугунные исполинские ступни ног.

Зорька рванул на груди рубаху, а репродуктор перекрывал его рыдающий голос, внашл великое:

"Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия - вперед и выше, все - вперед и выше!"

В стороне же, на отдалении, стоял инкассатор Молодцов и плакал. Оплакивал Параню? Да нет. Молодцов - культурная личность - умел ценить высокое слово, да еще вовремя сказанное. А как нельзя более кстати напоминал репродуктор о мятежном Человеке, идущем вперед и выше. Плакал Молодцов тайком, не умел иначе. И, конечно же, слез его никто не заметил.

Зорьку Косого судили. На вопрос: "Что заставило вас совершить убийство?" - он отвечал:

- Да как же, граждане судьи, она ж меня по крайней умственной отсталости под статью пятьдесят восемь подвести могла, во враги бы народа Зорьку Косого записали! Никак не согласен! Уж лучше смертоубийство - статья сто тридцать шесть, милое дело...

За чистосердечное признание к нему снизошли - судили по статье сто тридцать шесть как убийцу, а не как презренного врага народа.

Д о к у м е н т а л ь н а я р е п л и к а .

Повально знаменитое в свое время фото - Сталин с девочкой в матроске. Подпись под ним: "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!"

Имя этой девочки - Г е л я , дочь наркома земледелия Бурят-Монгольской АССР Ардана Ангадыковича М а р к и з о в а .

27 января 1936 года в Кремле происходил прием руководителями партии и правительства трудящихся Бурят-Монгольской АССР. Делегацию из шестидесяти

семи человек возглавляли секретарь Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) М. Н. Ербанов, председатель Совнаркома Бурят-Монполии Д. Д. Доржиев, председатель ЦИК республики И. Д. Дампилон. Присутствовал, разумеется, и отец Гели.

Во время торжественного заседания шестилетняя Геля поднесла букет цветов Сталину, и тот взял ее на руки. Этот момент и был запечатлен на снимках, облетевших всю страну, ставших плакатом.

- Что ты хочешь получить в подарок - часы или патефон? - спросил Ста-

лин.

- И часы, и патефон, - ответила Геля.

Действительно, на следующий день она получила золотые часы и патефон с набором пластинок. На том и на другом подарке было выгравировано: "Г е л е М а р к и з о в о й о т в о ж д я н а р о д о в И. В. С т а л и н а".

Отца Гели среди других наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Вскоре его арестовали и расстреляли вместе с Ербановым, Доржиевым и другими. Мать Гели сразу же после этого погибла при невыясненных обстоятельствах - на ночном дежурстве в городской больнице, где она работала врачом.

Геля осталась сиротой, долго жила в нищете и безвестности, хранила подарки Сталина.

1969-1971

Текст печатается по изданию: Тендряков В. Ф. Люди или нелюди: Повести и рассказы. - М.: Современник, 1990. - Параня. С. 470-489.

ПРОСЁЛОЧНЫЕ БЕСЕДЫ

Черепаха, которая жила под письменным столом, была вегетарианкой, и Алексей Николаевич взялся доставлять ей к ужину букет луговой кашки. На эту ответственную операцию неизменно приглашался я, помимо всего, надо полагать, на роль Дерсу Узала местного значения. К вечеру под моим окном вырос тал он - вдохновенная голова на тонкой шее, кофта, ниспадающая с плеч столь вольными складками, что сомневаешься в существовании плоти под ней, и белые резиновые тапочки на ногах.

Я не был ни его учеником, ни коллегой, в стороне от той науки, которой он отдал жизнь, не отстаивал с ним плечо в плечо общее кредо - всего-навсего лишь его досужий собеседник в часы отдыха. Но, право, это не так уж и мало. Оглядываясь назад, я теперь чаще вспоминаю даже не тех, с кем когда-то жался под артобстрелом в одном окопе, жил койка в койку в студенческом общежитии или колесил по экзотическим командировкам, а тех, с кем приходилось содержательно беседовать. Надо сказать, мне везло на собеседников - мечущийся страстотерпец-правдоискатель Валентин Овечкин, Александр Твардовский, всегда яркий, не всегда безобидный, способный и обнадежить откровением и уязвить до болезненных корчей. Но я не встречал собеседника умней Алексея Николаевича Леонтьева.

Нет, не ум привлек меня поначалу к нему, хотя, едва познакомившись, мы

начали "перекатывать" глобальные проблемы. Нужно было сперва привыкнуть к его скрупулезной, всегда сложной манере изложения, не шарахаться от парадоксальности его суждений, научиться ставить себя на его точку зрения. Это пришло ко мне не сразу, а раньше, я открыл в нем интеллигентность характера...

Кто как, а я лично хронически страдаю от нехватки интеллигентности, быть может, потому, что и сам ею обделен. Трудно определить, что понимаю под интеллигентностью, скорее всего, наличие в человеке той струны, которая чутко отзывается на твои колебания. Это в Алексее Николаевиче было. Старше меня на двадцать лет, он успел в отрочестве вдохнуть ту атмосферу, которую одухотворяли Лев Толстой, Чехов, Короленко, и это придавало интеллигентности Алексея Николаевича особый колорит.

Впрочем, однажды он тут обманул мои ожидания. В Сиене нас, группу русских туристов, повели в музей вин. Яркое солнце Италии снаружи, загадочный сумрак внутри стен средневековой крепости, ошеломляющее разнообразие выставленных бутылок настроили меня на благоговейный лад. Мне вспомнились слова Ланжевена, великого физика и тонкого знатока вин: "Вино не пьют, о вине говорят". И во вдохновенном порыве я решил купить предельно дорогую для моих скудных туристических финансов бутылку вина, мысленно поклявшись себе, что разопью ее дома с наиболее интеллигентным собеседником из моих знакомых.

Разумеется, им оказался Алексей Николаевич Леонтьев. Мы уселись друг против друга, сосредоточенно вчитались в пеструю этикетку на бутылке, осведомленной, однако, не стали, торжественно раскупорили, расплеснули по стаканам, дружно внюхались, переглянулись... Вино пахло вином, ничем более. Сдержав позыв разом опрокинуть, мы принялись церемонно смаковать. У музейного напитка был едко-кислый вкус. Конечно, в этой кислятине должны существовать знаменательные оттенки, но мне они, увы, недоступны, я лишь старался не кривить физиономию, ждал восторгов от чуткого Алексея Николаевича. Но лицо его было непроницаемо, а уста запечатаны.

"Вино не пьют, о вине говорят". Однако музейный напиток не только не служил темой для разговора, он как-то пришиб нас. Остороженько прикладывались, настороженно наблюдая друг за другом, стоически, не морщились, подавленно молчали... Я хотел налить по второй, однако Алексей Николаевич вино-вато, должно быть, сам презирая себя, изрек:

- Владимир Федорович, все-таки я предпочитаю водку.
- Господи! Да я - тоже!

Через минуту на столе стояла обычная водка. Она-то быстро развязала нам языки, но вино так и не стало темой нашего разговора.

Алексей Николаевич нес к дому блуждающую улыбку, я его торжественно провожал. Встретившая нас Маргарита Петровна взгляделась в мужа и сокрушенно объявила:

- Не тот стал Леонтьев! Не-ет! Раньше, в молодости, бывало, выпьет - выбирает дерево и... да, карабкается. Лихо и весело!

- Да неуж! - умилился я.

- Во хмелю, кто насколько может, становится ближе к предкам, - апостольски провозгласил Алексей Николаевич.

Однако случай сей редкий, не застолье объединяло нас, а проселочные и

лесные дорожки, "гулятивные беседы", как называл Алексей Николаевич.

Тропинка вдоль невыколосившегося поля, медовый запах клевера, благо-
растворение в воздухах, а два весьма почтенного возраста чудака - кто бы
послушал - всерьез, углубленно толкуют об... отрубленной голове. Да, о го-
лове профессора Доуэля, отрубленной и оживленной фантазией писателя Алек-
сандра Беяева.

Собственно, к ней нас привели рассуждения на тему, которую средневеко-
вые схоласты сформулировали бы в виде вопроса - где гнездится душа? Ну, а
мы лишь несколько его конкретизировали: можно ли считать центральную нерв-
ную систему (мозг) единственным вместилищем сознания? То есть могла ли нор-
мально функционировать голова профессора Доуэля на лабораторном блюде?

Я видел причину ненормальности только в том, что сознание будет чрез-
вычайно травмировано исключительной человеческой неполноценностью,
своего

рода сверхинвалидностью, отсюда - психическая угнетенность, апатия и пр. и
пр., вплоть до нежелания существовать в виде обрубка.

- А если предположить, что голова Доуэля примирится с человеческой не-
полноценностью? - спросил Алексей Николаевич.

- Разве с этим можно примириться?

- Почему бы и нет. Откинем в сторону злодейскую интригу вокруг профес-
сора Доуэля, он должен был умереть и знал это. Вместо полного небытия ему
предоставляется хоть и сильно ограниченное, но все-таки бытие - может воспр-
инимать мир, даже как-то интеллектуально участвовать в нем. Кой-что лучше,
чем ничего. Обладая достаточным умом и волей, не так уж и трудно убедить
себя - не обездолен, а даже по-своему счастлив. Предположим такое.

- И что ж тогда?

- А то, что и после этого психика головы Доуэля должна патологически
извратиться.

- Даже при условии, что голова станет осознавать себя счастливой?

- Даже при этом.

Я был озадачен:

- М-да-а. "Я мыслю. Следовательно, я существую". Доволен тем. И пато-
логия?..

На лице Алексея Николаевича знакомая мне игра - выразительность при
бесстрастии, переменчивость при неподвижности, такое впечатление, что
складки лица незаметно переменились местами и замерли в затаенном ехидс-
тве. Обычно это случается в предвкушении победы.

- А скажите, Владимир Федорович, - говорит он, - может ли голова Доуэ-
ля желать то, чего мы с вами ежеминутно мимоходом желаем - куда-то сходить,
что-то сделать и прочее там?

- Нет, конечно.

- А может ли она проявить волю, настойчивость, как мы их проявляем?

- Нет.

- А любить, как мы любим, негодовать, как мы?.. Или мечтать. Владимир
Федорович?.. Будут ли сходны мечта головы с мечтами постоянно к чему-то
стремящегося, чего-то добивающегося нормально неумеющего человека?

- М-да!

- Трудно сказать, какой стала бы психика отсеченной головы, но только не человеческой. А при извращенной психике и нормального сознания быть не может.

- Значит, если б даже удалось создать точную копию мозга, скажем, Эйнштейна, то это заведомо мог быть только свихнувшийся мозг?

Коль мы приняли в игру столь странный фантом - усеченного профессора Доуэля, то уж нет смысла обуздывать разгулявшееся воображение, стесняться фантастического. Алексей Николаевич охотно отзывался на мои эскапады, однако оставался самим собой - трезв, сдержан, академичен:

- Носитель разума не мозг, не отдельный орган, вырабатывающий духовную эманацию, а целиком человек с руками, ногами, деятельный, как никто на Земле.

- Ну, а разве в принципе невозможен эдакий сверхкомпьютер, интеллектуальный монстр без ног, без рук, глотающий информацию, генерирующий знания?

- Знания о чем? - быстро откликнулся Алексей Николаевич. - Об окружающем мире. И на основании информации, которые добыл кто-то. Тот, кто способен ощущать этот мир. Ощущать не ради самих ощущений, ради того, чтоб разобратся - что полезно, что вредно, а что безразлично. Информация-то монстру скармливается не какая-нибудь, а отобранная, целенаправленная, значит, и знания монстр выдает не какие-нибудь, а необходимые тем, кто наделен способностью ощущать, ими заданные. Выходит, настоящий-то источник разумной генерации вовсе не монстр, он лишь орудие, эдакая интеллектуальная кирка, дробящая гранит, скрывающий золотоносную жилу.

- То есть, чтоб получить генератор разума, следует сотворить человека, - проницательно заметил я.

Алексей Николаевич помедлил и решительно возразил:

- Нет, человечество!

- А вы недавно называли человека носителем разума, - напомнил я.

- Носителем, а не генератором. Дискретной частицей. Один электрон источником электричества быть не может.

- И все-таки человечество состоит из таких, как вы, генерирующих.

- Да, - согласился он, - но не я заряжаю общество своей генерацией, а общество меня.

- Это еще следует доказать.

- Будь иначе, я бы вкупе с другими генераторами диктовал характер общественной деятельности: так действуй, согласно нашей генерации. Но, увы, никто из усиленно генерирующих людей не может похвастаться, что именно они создали рабовладельческий, феодальный или капиталистический способ производства. Сие самопроизвольно возникло!

Некоторое время мы идем молча. Я перевариваю услышанное.

- Характер труда возникает самопроизвольно, - заговорил я. - Труд в некотором роде, как признано, создал человека. Не получается ли, что деятельность возникла раньше деятеля?

- А что раньше появилось - Солнце или солнечный свет? - спросил Алексей Николаевич.

- Разумеется, Солнце. Не сразу же оно разогрелось, чтоб светиться.

- Ну, а можно ли несветящийся сгусток материи называть Солнцем?

И я сдался:

- Всё! Спускаюсь на грешную землю... Здесь приличная кашка. Из-за наших "жомини да жомини" черепаха может оказаться без ужина.

Алексей Николаевич послушно присел - острые колени выше плеч, в позе самосозерцающего кузнечика. А над землей, отягощенной зеленью, топился вечер, яростно пламенный и обморочно тихий одновременно. Наморщив лоб, с вдумчивой сосредоточенностью представитель генерирующего человечества выщи-

пывал из травянистой обочины кашку.

Беседа. Одна из многих. Заранее оговариваюсь - мои отрывочные записи никак не стенографический отчет. Да и нелепо было бы передавать неизбежный сумбур, случайные необязательные отступления, словесную шелуху, сопровождающие обычно любой разговор. Я лишь добросовестно пытаюсь выразить наиболее

характерное из того, что осело в моей памяти, свое впечатление, прошедшее проверку временем.

Коллегам профессора Леонтьева, ученым-психологам, по существу наша беседа может показаться поверхностно наивной. Скорей всего, оно так и есть. Не надо забывать, что это не было изложением взглядов как таковых, их последовательной аргументацией, а не более чем разговором на отдыхе двух людей, по-разному воспринимающих жизнь, радующихся тому, что находятся точки соприкосновения.

Покопавшись в памяти, поднатужившись, я, возможно, и смог бы припомнить нечто более содержательное из наших вольных прогулок с Алексеем Николаевичем. Однако случайный разговор, метавшийся от отрубленной головы профессора Доуэля к роли деятельности в сознании, для меня незримо связан с другим... уже последним нашим разговором.

Кто-то заметил, что время после победы коварно для победителя. У Алексея Николаевича выходит книга - результат поисков, собственно, всей его жизни. Но в предисловии он пишет: "...Не могу считать ее законченной - слишком многое осталось в ней... только намеченным". Ему семьдесят два года, чтоб достигнуть намеченного, надо спешить, однако силы на исходе, нелегко начать новое восхождение, а помимо всего основная забота по факультету психологии по-прежнему лежит на его плечах. Отдых в санатории "Узкое" лишь как-то подправил Алексея Николаевича. Началась тревожная и тяжелая зима. И она кончается больницей. Одно время состояние угрожающее, но кризис проходит, мне даже удастся навестить его. Алексей Николаевич бодрится, шутит, но впоследствии мне признается: помнит нашу встречу смутно, как далекий сон.

В последнее лето мы видимся крайне редко, урывками. Нам мешают не только болезни Алексея Николаевича, житейская суета, мои летние отъезды, но и затяжные дожди. Алексей Николаевич отсиживался в Москве, в наших сырых хвойных местах ему тяжело дышалось.

И в тот день поутру тоже прошел дождь, ветра не было, низко висели тучи, лужи на асфальте блестели тревожно и неуютно. Алексей Николаевич чувствовал себя подавленно, сутулился, глядел в ноги, молчал, выдавливал из себя через силу: "Да, нет..."

Но мы давно не виделись, и я стал его расспрашивать о замыслах. О своих же замыслах Алексей Николаевич спокойно говорить не мог, они, как дрожжи, всегда вызывали в нем брожение. Сейчас - тоже... Слово за слово, голова поднялась, спина распрямилась, голос окреп, в глазах появился блеск, и передо мной, как обычно, начало ветвиться древо познания.

Он заговорил о том, что у него давно уже вызывало сомнение великое противопоставление, на котором держится наше сознание - я сам и весь остальной, окружающий меня мир, субъект и объект, жестко разделенные между собой, не подлежащие смешению. Объект воздействует на субъект, субъект проявляет себя - просто и ясно, знакомо со школьной скамьи.

- Так вот, - продолжал Алексей Николаевич, - заблуждение, что мое "Я" противостоит окружающему миру, бессмысленно рассматривать как то, так и другое по отдельности. Как сила гравитации без массы, как квант света без движения, так и субъект в отрыве от объекта - абсурд!..

Он говорил, а искры падали на сухой порох. Мне не давал покою, так сказать, один пунктик, мешающий соглашаться с общепринятым взглядом на происхождение человека. Да, "вся история есть не что иное, как образование человека человеческим трудом", однако создание первых орудий мне вовсе не кажется знамением антропогенеза. Атропологи вкупе с археологами даже австралопитека подозревают в использовании орудий, а уж чуть-чуть более развитый презинджантроп назван "умелым", хотя мозг его все еще остается скорей обезьяньим. И грубо сколотая галька и неуклюжее зубило могли в лучшем случае стать только признаком человекоподобия, но еще не человека. На каком этапе мастерovitости - нанесения ретуши, миниатюризации, шлифовки камня - возник тот уровень сознания, который без оговорок можно назвать человеческим? Мне кажется, по орудиям его установить невозможно, но существует признак, который указывает на воистину революционный переворот в мировосприятии. Этот признак - могила, захоронение!

Для того чтобы наш далекий предок не бросил умершего родича, а совершил над его телом примитивный обряд (хотя бы только привалил землю), он должен был прежде выделить самого себя из окружения. Если он прежде мир воспринимал просто как источник пищи и опасностей, то теперь уже объединяет все находящееся вне себя. То есть он противопоставляет себя миру, осознает свое "Я". А это может означать, что наш предок перестал быть особью, превратился в личность.

Осознав себя, нельзя не осознавать и своих родичей, не признавать их столь же обособленными и значительными в мире сем, как и ты сам. Это осознание наиболее остро должно проявляться со смертью родича, переноситься на его останки. Появление захоронений - результат самосознания. Появление захоронений - признак возникновения нового, никому из животных не свойственного мировосприятия, где все сущее резко делится на "Я" и на то, что меня окружает, на субъект и объект. Такое мировосприятие стало основой жизнедеятельности человека - реализация субъективных нужд за счет объективно существующего окружения. А сейчас я вот слышу: мое "Я" не противостоит окружению, субъект в отрыве от объекта - абсурд.

Алексей Николаевич обводит длинной рукой аллею начинающих желтеть лип, дорожку с лужами, едко голубую дачу за забором:

- Меня и вас сейчас окружает одно и то же - объект, так сказать, подмосковно-дачного образца. Представим, что каким-то образом удастся зафиксировать и мое и ваше восприятие этого объекта. Как вы думаете - отличались бы они?

Ну, тут у меня сомнения нет.

- Да,- отвечаю я.- Когда я учился на художественном факультете, мы обычно все скопом писали какой-нибудь один кувшин с яблоками и драпировками. Двадцать с лишком человек! А не случилось, чтобы мы изобразили похожими хотя бы два кувшина.

- Ага! - подхватил Алексей Николаевич. - Мир, существующий вне, объективен, но только не для нас. Мы его воспринимаем - вы так, я эдак, каждый по-своему. Независимый от нас объект для нас с вами - фикция. Мир вне нас для нас субъективен. А вот мы сами, субъекты, так ли уж мы субъективны?.. Возьмем для примера некоего конкретного субъекта, того же Алексея Николаевича Леонтьева с его потребностями и влечениями. В данный момент этот субъект устал, потребности и влечения его сходятся на одном: надо отдохнуть, спрятаться от дел, пошататься вот так хотя бы недельку. Но... завтра еду. На совещание, где я услышу не только пустопорожние речи, но и колкости и выпады по своему адресу, на совещание, которое выбьет меня из колеи, по крайней мере, на неделю. Еду вопреки своим потребностям и влечениям! Объективные обстоятельства заставляют. Я - субъект? Да нет, - я выразитель объективного! И это всегда и всюду. В первых веках нашей эры миллионы христиан искренне желали бы любить ближнего своего, но мир, в котором они находились, был расколот на господ и рабов, одни погоняли других палкой. Люби тут...

- Как говорится, Ермол и не виноват, да нельзя миновать, - вставил я.

- Вот именно. Сущность нашего "Я" не внутри, а вне нас...

Алексей Николаевич, похоже, сдал от вспышки, взирал на уходящий под осень липово-асфальтный мир, говорил уже без напора:

- Получается - объект субъективен, субъект объективен, можно ли просто делить мир на эти противостоящие категории?..

Я долго молчал. Если считать, что сознание своего "Я", противопоставление его миру, завершило формирование примата в человеке, то что же нужно ожидать от нового поворота в нашем сознании?

- Принципиально иной взгляд на себя? - спросил я.

- Да, - ответил Алексей Николаевич.

- И принципиально иной на мир?..

- Да.

- Но тогда и жизнь наша должна стать принципиально иной!

- Почему - должна стать? Не от взглядов - жизнь, а от жизни - взгляды.

Уже стала, только мы этого еще не разглядели.

Утром Алексей Николаевич уехал в Москву, и там началась последняя вспышка его активности. Мне сообщали - строит планы экспериментальных исследований, выступает с докладами, засиживается дома за письменным столом... А я мысленно возвращался к нашей беседе. Мы редко говорили о нравственности, самой болезненной теме в общежитии и самой темной для науки. Но чего бы мы ни касались, эта тема постоянно ощущалась в умолчаниях и недомолвках.

Последний разговор не исключение...

"Сущность нашего "Я" не внутри, а вне нас"... В том, что каждого из нас окружает. А самая влиятельная часть окружения любого из нас - не разнообразные ландшафты с их флорой и фауной, а другие люди. С ними, себе подобными, каждому из нас приходится сталкиваться, от них зависит.

Но эти другие нам люди никогда не окружают нас хаотичной массой, они всегда упорядочены, выстроены в систему, действующую соответственно своему устройству. Становится очевидной тщетность многовековых усилий со стороны религии, пытавшейся внушить человеку: поступай только так, а не иначе - не убий, не лжесвидетельствуй, не пожелай жены ближнего своего, - поступай нравственно, не считаясь с внешними обстоятельствами. Наше "Я" не принадлежит только нам самим, "ни один человек не является островом, отделенным от других. Каждый - как бы часть континента, часть материка...".

Действующие человеческие системы, которые определяют наше поведение, формируют нас самих, не создаются искусственно, а возникают стихийно в ходе развития. Но ведь человек с того и начал, что стал вмешиваться в стихию...

Я занимался своими делами, но помнил об Алексее Николаевиче, ждал нового лета, а с ним новых встреч, прогулок, разговоров, нисколько не сомневался, - встречи будут, и как всегда заполненные необузданными беседами. Не сомневался в этом я даже тогда, когда услышал, что Алексей Николаевич снова слег...

И телефонный звонок Маргариты Петровны...

Осознаем невозможное, когда потеря уже происходит.

1983

Текст печатается по изданию: Тендряков В. Ф. Люди или нелюди: Повести и рассказы. - М.: Современник, 1990. - Проселочные беседы. С. 644-653.
